|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Владимир Кантор](http://magazines.russ.ru/authors/k/kantor/)** **Лев Толстой: искушение неисторией**

|  |  |
| --- | --- |
| 29088) |  |

 |



**Владимир КАНТОР**

**ЛЕВ ТОЛСТОЙ: ИСКУШЕНИЕ *НЕИСТОРИЕЙ*\***

**САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ, ИЛИ ТОЛСТОЙ CONTRA ГЕТЕ**

В России не было писателя, который до такой степени при жизни вкусил бы всю полноту земной славы. В 1898 году Чехов писал Суворину: “28 августа я не буду у Толстого, во-первых, оттого, что холодно и сыро ехать к нему, и во-вторых — зачем ехать? Жизнь Толстого есть сплошной юбилей, и нет резона выделять какой-нибудь один день...” 1 Да и вообще в мире не было ни у кого из писателей при жизни такой славы, разве что у Гете, тоже обожествленном своими современниками. Паломники из всех стран мира приезжали к “яснополянскому мудрецу”, его слово весило для людей, искавших духовности, более, нежели слово церковных иерархов, тем паче государственных чиновников. Два царя в России, говорили современники, один на троне, другой в Ясной Поляне 2 . В письме к Николаю II от 16 января 1902 года писатель называет императора “Любезный брат” 3 . Влияние писателя и проповедника было безусловным среди читающей публики, то есть тех людей, которые определяли в конечном счете выбор Россией ее дальнейшего пути, в ситуации, когда, говоря словами Толстого, “все переворотилось и только укладывается”.

“Учитель жизни”, “величайший русский писатель”, “наш Лютер”, однако и посильнее Лютера, ибо, опираясь на христианство, явился основателем *новой религии (толстовства)*, Толстой при жизни стал фактом не только духовного, но и социально-политического движения России. Даже С. Франк, в юбилейной статье 1908 года писавший, что “Толстому, несмотря на мировую славу, суждено жить в духовном одиночестве”, тем не менее был уверен: “можно поставить в один ряд с популярностью Толстого” только “славу Вольтера, Гете, Виктора Гюго” 4 . Философ полагал, что интеллигенция охотнее слушала революционеров, социалистов, в том числе и марксистов-материалистов. Но так ли это? Когда в 1909 году журнал “Вестник знания” провел анкету среди “трудовой интеллигенции” о самом читаемом писателе, то на первом месте оказался Лев Толстой (295 голосов), на втором — с огромным отрывом — Чарльз Дарвин (152 голоса), Карл Маркс был только на шестнадцатом (52 голоса) 5 . В подпочве взглядов интеллигенции почти всех направлений — прежде всего радикально-антисамодержавных (от Мережковского до Ленина) — находилась толстовская установка на отрицание существующего. Получилось, что, категорически не принимая Достоевского, победившие большевики признали *своим* именно Толстого. Не случайно требовали, чтоб в социалистической литературе появился “новый Лев Толстой”, который сможет с эпическим размахом воспеть *новую Россию.* Не Пушкин, не Тургенев, не Лесков или Чехов и уж, конечно, не Достоевский и не Бунин! И Франк с горестью констатировал, что “большевизм чествует в Толстом своего единомышленника и великого предшественника” 6 .

Смысл его влияния был осознан не сразу. Андрей Белый, скажем, писал: “Лев Толстой — самое выдающееся явление русской жизни XIX столетия” 7 . Но по Толстому определяли и смысл движения России в ХХ веке. И прежде всего мыслители тех стран, которые пережили аналогичные попятные движения от ценностей западноевропейской цивилизации к языческому и антихристианскому варварству, — прежде всего немцы. В 19 2 3 году русский мыслитель Степун заметил этот побеждающий Россию и Германию дух антиевропеизма: “Германия сейчас, быть может, не совсем Европа, в ее судьбе много общего с судьбою России” 8 . Но уже в 1922 году Томас Манн писал: “Западно-марксистский чекан, озаривший ясным светом великий переворот в стране Толстого... не мешает нам усмотреть в большевистском перевороте конец Петровской эпохи — западно-либеральствующей *европейской* эпохи в истории России, которая с этой революцией снова поворачивается лицом к Востоку... Но разве с момента этого исторического поворота, пророком которого, хотя в Москве и не отдают в этом отчета, был Лев Толстой, — разве не с этого момента появилось в Западной Европе ощущение, что и она, и мы, и весь мир, а не только Россия, присутствуем при конце эпохи, эпохи буржуазно-гуманистической...” 9

Добавим к этому, что немцы выступали как проводники западной цивилизации в России. У них учились, но с ними и спорили, их опровергали. Как показал еще Я. Голосовкер, русская литература была полемична по отношению к немецкой мысли. По словам Т. Манна, Гете и Толстой — идейные антагонисты. Гете он определял “как представителя бюргерской эпохи”, то есть эпохи либерально-буржуазной, выражавшей сам дух европеизма. Первый удар эта либерально-европейская культура получила от России, а затем и Германия отказалась от европейского идеала свободной и самодеятельной личности. Но если в Германии европейская буржуазность погибла *вопреки* Гете, то в России — *благодаря* Толстому. Думается, оппозиция Толстой—Гете имеет всемирно-исторический характер, ибо, как вполне резонно говорил Томас Манн, “Толстой для своей страны и своего народа имеет примерно то же значение, что для нас (то есть немцев. — *В. К.*) автор “Фауста” и “Вильгельма Мейстера” 10 .

Действительно, славой своей они равны. Толстой не меньше Гете стремился занять главное место на литературном Олимпе, чтоб влиять на людей. В 1855 году записывает в дневнике: “Моя цель — литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочиненьями” (XXI, 148). О своем старшем брате Лев Николаевич писал, что у того были все данные для большого писателя, кроме одного: полностью отсутствовало честолюбие. Лев же хотел быть первым, а первым все (Пушкин, Карамзин, Баратынский, Дружинин, Тургенев) называли Гете. Пушкин не без иронии замечал о любимом английском поэте: “Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии — и остался хром, как Иаков” 11 . Почему бы русскому не попробовать?. .

По воспоминаниям Бунина, Чехов говорил о Толстом, что тот иногда “хвалит Мопассана, меня... Отчего хвалит? Оттого что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры. Вот Шекспир другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, что пишет не по-толстовски” 12 . Интересно, однако, что, браня Шекспира (Чехов этого не заметил), он не просто отрицал эстетику елизаветинского драматурга, но — *полемизировал... с Гете*: “До конца XVIII столетия Шекспир не только не имел в Англии особенной славы, но ценился ниже других современных драматургов: Бен Джонсона, Флетчера, Бомона и др. Слава эта началась в Германии, а оттуда уже перешла в Англию. Случилось это вот почему... *Гете, бывший в то время диктатором общественного мнения в вопросах эстетических...* вследствие совпадения своего миросозерцания с миросозерцанием Шекспира, провозгласил Шекспира великим поэтом. *Когда же эта неправда была провозглашена авторитетным Гете*, на нее, как вороны на падаль, набросились все те эстетические критики, которые не понимают искусства, и стали отыскивать в Шекспире несуществующие красоты и восхвалять их. *Люди эти, немецкие эстетические критики, большей частью совершенно лишенные эстетического чувства...*” (XV, 304, 307—308). Не делая этой поправки на полемику с великим немцем, зная, что Толстой, ругая Шекспира, хвалил Семенова и Ауэрбаха, можно поневоле вспомнить Пушкина: “Глупость осуждения не столь заметна, как глупая похвала; глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и это приписано разборчивости его вкуса, странности и т. п. Тот же глупец восхищается романом Дюкре-Дюминиля или “Историей” г. Полевого, и на него смотрят с презрением. Хотя в первом случае глупость его выразилась яснее для человека мыслящего” 13 . Менее всего Толстого можно назвать глупцом, не говоря уж о фантастической обширности его познаний и безусловной гениальности. Но в его полемике были доведены до предела антиевропейские тенденции русской культуры.

В своей программной статье “Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения” друг литературной юности Толстого А. В. Дружинин писал: “...великий поэт... жил между нами, хотя мы еще были детьми, когда он угас во всем своем величии. *Это Гете. Наполеон мысли, величайший гений поэзии, величайший представитель нашего столетия.* Влияние Гете только что начинается, оно продлится на тысячелетия и нескоро еще будет оценено в точности” 14 (курсив мой. — *В. К.*). Гете — центр европейской мысли и искусства, так сказать, квинтэссенция европеизма. Разобраться с Гете — разобраться с отношением России к Европе.

Напомню, что в русской писательской среде, начиная с Карамзина и Жуковского, кумирами были Гете и немецкая литература. В своей первой знаменитой книге Карамзин, к примеру, писал: “...Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних Греков, умели и язык свой сблизить с Греческим и сделать его самым богатым и для Поэзии удобнейшим языком; и потому ни Французы, ни Англичане не имеют таких хороших переводов с Греческого, какими обогатили ныне Немцы свою Литературу . Гомер у них Гомер: та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душею древних времен, когда Царевны ходили по воду и Цари знали счет своим баранам” 15 . Было убеждение, что именно немцы вернулись к подлинной античности. Не случайно Жуковский переводил “Одиссею” с немецкого, а Тургенев самым важным влиянием на свое творчество считал влияние Гете и немецкой философии, которые позволили ему по-новому взглянуть на русскую жизнь 16 . Русские писатели чувствовали себя учениками в немецкой школе. Но рано или поздно в любой школе находится ученик, причем из лучших, который начинает бунтовать против учителя. И — как во всяком восстании против авторитетов — приобретается силой самостоятельной мысли многое, но многое отвергается понапрасну, в результате, как говорят психологи, “протестного поведения”.

**НЕМЕЦКИЕ УЧИТЕЛЯ И РУССКИЙ БАРИН**

Толстой вырастал как писатель, окруженный лестным вниманием публики и критиков, принадлежавших эпохе так называемых 40-х годов. Что же это была за эпоха, по понятиям современников? Напомню мнения из двух противоположных лагерей — разночинца-радикала Н. Шелгунова и романтика-консерватора К. Леонтьева.

Шелгунов: “...люди сороковых годов взглянули впервые на внутреннюю русскую жизнь и на... русскую мысль сознательным взглядом... Но почему же вся эта честь пала только на их долю? Очень просто. Западная Европа впервые огляделась перед тем от погрома французской революции 1789 г. и наполеоновских войн, *пробудивших во всей Европе, и особенно в Германии, такое сильное национальное чувство. А Гете, Шиллер, Гегель, Байрон и др.!* Разве они были раньше? ... Мыслящим русским людям Европа дала аршин, которым они и принялись перемеривать свое старое, родное... Людям сороковых годов открыла умственные очи Германия — туманная, но умная и патриотическая...” 17 (курсив мой. — *В. К.* ).

Леонтьев: В “литературе 40-х и 50-х годов надо различать две стороны — теоретическую, так сказать, и практическую... *Теории* эстетические были у нас в те времена *очень* высоки и глубоки по идеалу, **ибо они были под влиянием германской идеальной критики и философии** (подчеркнуто мной. — *В. К.*), выше которой едва ли уже можно на той же почве подняться” 18 .

Толстой тоже не избежал — с самого начала своего становления — учебы у немцев. Достаточно сослаться на его “Речь в Обществе любителей российской словесности” (1859), где он выступает вполне в духе гегелевской эстетики и теорий “чистого искусства”, называя себя “односторонним любителем изящной словесности” (XV, 8). Посмотрим дневники *раннего* Толстого:

**1854.** “ *9 июля.* Читал Гете, Лермонтова и Пушкина. Первого я плохо понимаю, да и не могу, как ни стараюсь, перестать видеть смешное (du ridicule) в немецком языке” (XXI, 127).

“ *10 июля.* ...читал Лафонтена и Гете, которого начинаю день ото дню понимать лучше”.

“ *14 июля.* Утром, кроме обыкновенного чтения Гете...” (XXI, 128).

Зафиксируем *ежеутреннее “обыкновенное” чтение Гете.*

**1856.** “ *29 сентября...* Читал “Вертера”. Восхитительно” (XXI, 163).

А вот из письма В. В. Арсеньевой от 23—24 ноября. Петербург: “...открыл книгу и прочел удивительную вещь — “Ифигению” Гете. Вам это непонятно (может, будет понятно со временем) то неописанное великое наслаждение, которое испытываешь, понимая и любя поэзию” (XVII-XVIII, 440).

Итак, Гете — это наслаждение, причем наслаждение доступное не каждому. Правда, уже в эти годы чувствуется — пока еще примеривающаяся — готовность к состязанию с великим немцем. Дневник от 23 сентября 1857 года: “Гете холоден. В “Фаусте”. Если бы он был молод и силен, то все фаустовские мысли и порывы развил. А развил бы, не уложил бы в эту форму” 19 . Впрочем, уже в первой повести Толстого — “Детство” — можно разглядеть некую специфику отношения русского барина к обучающим его *людям.*

Она начинается с эпизода, как учитель-немец, по имени Карл Иваныч, бьет муху хлопушкой над головой барского дитяти. “Он сделал это так неловко, что *задел образок моего ангела*, висевший на дубовой спинке кровати... Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок... и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча... *“Только о том и думает всю жизнь*, — прошептал я, — *как бы мне делать неприятности*... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!” Отношение к Карлу Иванычу героя повести и его родителей есть некая модель дальнейшего восприятия немцев героями Толстого. Характерен, кстати, образок ангела, который неловко задевает учитель, то есть неловко задевает самую суть героя. Немец — *наставник*, и в этом качестве *раздражает.* Он призывает детей: “Auf, Kinder, auf!.. Nu, nun, Faulenzer!” (Вставать, дети, вставать!.. Ну, ну, лентяй!) Но вдруг у героя приступ сентиментальности, и он признает добродетели учителя: “Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!” Эти, если так можно сказать, “качели самодурства” барина по отношению к существу низшему и подчиненному проявляются и в поведении родителей рассказчика. Немец выучил детей языку. Мать героя тоже свободно говорит по-немецки, похоже даже, что язык доставляет ей удовольствие. Карл Иваныч был не наемным слугой, он жил не один год в доме, другого жилья у него нет, но в его услугах перестают нуждаться, да и с деньгами трудности, и его рассчитывают, не очень задумываясь, куда он денется. Учитель переживает, делится своим горем с другим слугой: “*Я двенадцать лет живу в этом доме* и могу сказать перед Богом, Николай, — продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку, — что *я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети.* Ты помнишь, Николай, *когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели.* Да! тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен... 20 Бог с ними! *Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют*, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба...” (I, 23). Поразительное ощущение — избавимся от немца и жить станет легче! Но вдруг вспыхивает в душе самодурного барина снисходительность после хорошей охоты и жалость при виде немца, который, “утирая платком слезы... вышел из двери” (I, 40), и он говорит жене: “Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан; а семьсот рублей в год никакого счета не делают...”

В этот период писатель вроде бы на стороне немецкого учителя, жалеет его, понимает его доброту. Пока для него самое лучшее, что родила Европа, — это ее дух, искусство, литература, философия. Он и поехал в Европу, желая найти там таких же — как виделось ему по книгам и в кругу русских писателей — восприимчивых к искусству художников и ценителей прекрасного.

И вот первое столкновение и первое непонимание — в швейцарском городке (рассказ “Люцерн”, 1857). Тирольский певец, “бедный тиролец”, как называет его рассказчик (то есть австриец, *но всех австрийцев в “Войне и мире” и в других текстах Толстой считает и называет немцами*), поет перед гостиницей народные песенки, богатые люди слушают его, потом расходятся, не заплатив. И вот рассказчик, князь Нехлюдов, живущий на доходы от работы крепостных, которым он тоже не платит, возмущается, дает певцу “несколько сантимов” (то есть совсем мало) и заводит его в ресторан, где тратит огромные деньги на выпивку, вместо того чтобы дать певцу за работу, и начинает демонстрировать европейской цивилизации, что она недостойна так называться, ибо некие чопорные англичане не захотели с ними вместе сидеть и пить. Причем певец объясняет разбушевавшемуся барину, что он уже восемнадцать лет так работает и не пропал до сих пор. Иногда у художника купят его произведение, а иногда и нет. Так бывает. Но русский барин не желает этого понимать, а только подливает вина тирольцу, так что тот, и без того оробевший и напряженный, окончательно смущается и пугается: “Я знаю, что вы хотите, — сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем, — вы хотите подпоить меня, посмотреть, что из меня будет; но нет, это вам не удастся”. Певцом он тоже не понят. И вот уже стирается грань между рассказчиком и автором, и Толстой не в правоте Божьего мира начинает сомневаться (как, скажем, Иван Карамазов), а обращается к некоему Всемирному Духу (не Богу): это “тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу”, который один “заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации”. Итак, не христианский Бог, но Всемирный Дух, *бессознательный, стихийный,* есть противник европейской цивилизации, которую учили его любить немцы (Гегель видел в *мировом духе* как раз явление *божественного разума*). По словам почти всех исследователей, именно в “Люцерне” впервые формируется идеология писателя, которая развернется далее в “Войне и мире”.

Но именно здесь первый раз под видом защиты личности он отказывает этой личности в праве самой решать свои проблемы. Это очень точно ощутили русские демократы-разночинцы. Скажем, Скабичевский называл певца не то жертвой, не то пассивным орудием героизма Нехлюдова, “разгневанного барина”, пояснив: “Не дать денег уличному певцу, это вовсе еще не значит оскорбить его, а напротив того — унизить себя перед ним... Но заставить прострадать час, другой, употребив его жалким, пассивным орудием для выказания своего геройства и показания бездушия ближних, — в этом уже не одно только унижение человеческого достоинства, а окончательное попрание его, уничижение личности... *поступок Нехлюдова по отношению к певцу напоминает весьма потехи наших прадедов, которые, не довольствуясь повседневными шутами, любили под веселый час посадить рядом с собой за стол оборваннейшего бедняка из толпы и забавляться при виде, как он смущается*, пьет лучшее вино, не пив до сегодня ничего кроме водки, и как присутствием его возле хозяина скандализируются какие-нибудь чопорные барыни” 21 (курсив мой. — *В. К.* ).

Толстой ни на минуту не мог признать себя неправым. Но его творчество с установкой на *правду изображения* говорило само за себя. Тема о благодеянии европейскому художнику, слабому, жалкому, была продолжена в повести “Альберт” (1858), прообразом “спасаемого” послужил немецкий скрипач Георг Кизеветтер, а сюжет в том, что русский барин Делесов почти силком притащил к себе спивающегося немецкого музыканта, запер в квартире, не давал пьянствовать и не выпускал на свободу. Себе при этом Делесов разрешает ездить в клуб, “проигрывать в вист”, то есть тоже прибегать к наркотикам. Но какое чувство презрения испытывает он к спасаемому им артисту-музыканту! “Вот и делай добро людям, — думал он сам с собой. — Я для него стесняюсь, *держу у себя в доме это грязное существо*... хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку... О чем он думает и грустит?.. О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь...” Но ответ есть и у Альберта, он свободы хочет, по собственному глупому хотению жить, а не по прихоти морализирующего барина-самодура: “Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!”

Поначалу повесть называлась “Погибший”. Толстой здесь дистанцируется от современных западных художников как учителей. Теперь, на его взгляд, они способны жить только в качестве опустившихся бедняков, на искус подлинного творчества у них нет ни сил, ни смелости. Отношение к ним у русского барина может быть только покровительственное — сверху вниз.

**ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ**

Уже раннее творчество Толстого состояло из шедевров, в которых он если и не превзошел, то быстро поднялся на уровень лучших отечественных писателей. И постепенно искусство перестает волновать его и кажется ему неинтересным. Об этом он пишет Дружинину (1859): “Я... кажется, не буду писать... жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал, совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом” (XVII-XVIII, 530—531). К началу 60-х годов меняется в России общественная ситуация. Идет подготовка Великих реформ. Встала задача приобщения миллионов людей к достижениям мировой цивилизации, возникла потребность в грамотности. Толстой уходит в идею просвещения России. Без этого немыслимы никакие реформы 22 . И он ищет лучших способов образования. Едет в Веймар (город славы Гете) изучать фребелевскую систему. Ведь именно в педагогике Запад силен. Прежде всего немцы. В 1861 году пишет в дневнике: “Германия одна выработала педагогию из философии. Реформация философии. Англия, Франция, Америка подражали” (XXI, 233).

Он путешествует по Европе, общается (достаточно восприимчиво) с Герценом, другим русским барином, бывшим выучеником Гегеля, но резко критически относящимся к современным немцам, считающим их (“немецких русских” и “русских немцев”) главной опасностью для России: от (вспомним тут Карла Иваныча из “Детства”) “немцев *при детях*... до немцев *при России*” — Клейнмихелей, Нессельроде, Бенкендорфов, а “над ними олимпийский венок немецких великих княжон с их братцами, дядюшками, дедушками” 23 . Толстой прислушивается, пока не реагируя на германофобские соображения. Но многое созвучно его ощущениям. Например, идея, что высокое искусство осталось в прошлом. В “Концах и началах” Герцен, обращаясь к оппоненту, спрашивал: “...о чем ты, собственно, говоришь — о настоящем или прошедшем? О том ли, что искусство развилось на Западе, что Дант и Бонарроти, Шекспир и Рембрандт, Моцарт и Гёте были по месту рождения и по мнениям *западниками*? Но об этом никто не спорит... Но где же... новое искусство, где художественная инициатива? Разве в *будущей* музыке Вагнера?” 24 Все это принимается Толстым, включая иронию по поводу современной музыки. Письмо Герцену от 8/20 марта 1861 года: “...вчера, слушая “Фауста” Гуно, испытал весьма сильное и глубокое впечатление, хотя не мог разобрать, произведено ли оно было музыкой или этой *величайшей в мире драмой*, которая осталась так велика даже в переделке французского либретто” (XVII-XVIII, 557).

Классика остается классикой. На современном Толстому Западе, как ему кажется, превзойти ее некому. Художественная инициатива должна прийти из России. Но для начала надо отступить и посмотреть, подумать, найти свою точку опоры для состязания с классикой — в высших ее проявлениях.

Тем временем выясняется, что немецкие теории к народу (даже к немцам) непригодны: “Германия может гордиться только образованием народа по статистическим сведениям, народ же по-прежнему, большею частью, выносит из школы только отвращение к школе” (XVI, 7—8). Тем более российские крестьянские дети. И в споре с цивилизацией русский барин прибегает к лукавому аргументу. Зачем эта грамотность и цивилизация, если народ ее не принимает? Так же можно сказать: зачем христианские сложности — они непонятны народу. Правда, по поводу неприятия народом образования ему успел возразить Чернышевский, крупнейший русский демократ, пытавшийся утвердить в России через науку христианские ценности 25 . Толстой писал, что “народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляют для его образования общество или правительство” (XVI, 7). Чернышевский отвечал: “Мало ли чему может иногда противодействовать народ!.. при Аранде и Флориде Бланке в Испании он противодействовал отменению инквизиции; у нас он противодействовал попыткам ознакомить его с возделыванием картофеля... В некоторых, — пожалуй, в довольно многих, — случаях народ довольно упорно противился заботам об его образовании. Что ж тут удивительного? Разве народ — собрание римских пап, существ непогрешительных? Ведь и он может ошибаться, если справедливо, что он состоит из обыкновенных людей” 26 .

Не забудем, что в это время произошло освобождение крестьян, то есть миллионы людей получили шанс на общественную жизнь, на существование в истории. Но способны ли они на это? Гердер полагал, что славяне находятся вне истории, Гегель говорил о запоздалом вхождении России в историческую жизнь. Но вот в начале 60-х пошли реформы армии, судопроизводства, собственности. Эти протобуржуазные реформы еще активнее заставляли людей обращаться к *историческому опыту* Западной Европы. В самой России пишутся истории Соловьева, Кавелина, Чичерина, встраивавшие следом за Карамзиным Россию в европейский исторический процесс. С. М. Соловьев создает в эти годы тома, посвященные великому перевороту Петра Первого, вернувшего Россию в Европу. В России XIX века стала очевидной необходимость продолжения европеизации, то есть установления принципа свободной, самодеятельной личности. И как раз европеизация более всего ставилась под сомнение. Как правило, эпоху реформ большинство населения переносит с трудом, поскольку — если использовать толстовский образ — это то время, когда *все переворачивается, но отнюдь не похоже, чтоб когда-нибудь уложилось.* В результате возникают идеи контрреформ. Причем эти контрреформы апеллируют обычно к некоему архаическому прошлому, когда не было чуждых влияний, прошлому, которое актуализируется в грандиозных идеологических построениях. Так, ответом на распад патриархальной Греции стало великое “Государство” Платона, направленное против движения истории, воскрешавшее структуры древнеегипетского кастового строя и древнегреческой военной архаики. Именно платоновского масштаба и пафоса сочинение (“Война и мир”) получила Россия от Толстого.

Терзаниям гордого духа, ощущению богоизбранности личности, которое переживали и выражали те же Наполеон, Гете (этот, по словам Дружинина, “Наполеон мысли”), утверждению Гегеля, что одни народы являются историческими, а другие внеисторическими, Толстой хотел противопоставить нечто иное, что сильнее истории, и найти это “нечто” в России. Конечно, он знал извечную славянофильскую точку зрения, что Россия противостоит Западу , но он полагал, что не сегодняшняя и не вчерашняя, а та, которую ему еще предстояло открыть, вечная и незыблемая. В статье “Прогресс и определение образования” (1863), накануне романа-эпопеи, он писал: “*Со времен Гегеля*... в литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма *странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение...* мы пытаемся найти тот общий умственный закон, которым руководилась деятельность человека... Историческое же воззрение на все наши попытки отвечает только тем, что Руссо и Лютер были произведениями своего времени. Мы ищем то вечное начало, которое выразилось в них, а нам говорят о той форме, в которой оно выразилось...” (XVI, 67, 71). Толстой искал абсолюта, историзм же мешал этим поискам, ибо говорил об относительности любой идеи, разбивая предпосылки общественного фанатизма.

Разочарование в Западе наиболее остро выразил в то время, пожалуй, именно Герцен. Помимо рассуждений о закате там творческой силы, Герцен говорил об исчерпанности западноевропейской концепции истории и необходимости противопоставить ей контристорическую позицию (в тексте о Роберте Оуэне): “Не проще ли понять, что человек живет не для *совершения судеб*, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился *для*... настоящего” 27 . Но отказ от западноевропейской идеи истории не означал ли выход вообще за пределы истории? Герцен высказал эту мысль среди прочих, а Толстой ее подхватил в письме к лондонскому эмигранту от 14/26 марта 1861 года: “Ваша статья об Овене, увы! слишком, слишком близка моему сердцу... Вы говорите, что я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее с своей призмочки. *Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще и сами не видим. И этот пузырь есть для меня твердое и ясное знание моей России...*” (XVII-XVIII, 560). Герцен в письмах “К старому товарищу” (1869) вернулся к европейской концепции истории. Толстой же гениально (быть может, и интуитивно отчасти) понял, что *вместо “идеи истории” надо поставить “идею* ***внеистории*** *”.*

Правда, его ждали еще и удары, и проблемы, прежде чем он решился схватиться с западноевропейскими гениями. После того как яснополянская школа начала действовать, в доме Толстого (в его отсутствие) был произведен обыск. В письме к А. А. Толстой он пишет о своем желании “экспатриироваться”. “К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продам именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду” (XVII-XVIII, 589). Затем решительное письмо императору, даже дерзкое: “Для того, чтобы знать, кого упрекать во всем случившемся со мною, я решаюсь обратиться прямо к Вашему Величеству. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени” (XVII-XVIII, 594).

Но он оставался жить в России, а оставаясь, должен был найти примирение с самим собой и с Россией, чтобы найти свою Россию в противовес императорской. У него уже были поиски идиллического места подальше от властей — “Казаки”, или в личной жизни — “Семейное счастье”. Однако он хотел найти нечто подобное для всей России и — в реальности. Начатый им роман о декабристах — людях, противостоявших самодержавию, — его уже не устраивает. *Надо найти то, что они защищали.* А как полагал тот же Герцен, декабристы были следствием войны 1812 года. Но с кем они боролись? Какой такой дивный мир стоял за ними? Раз, победив Наполеона, они потом пошли против самодержавия, значит, ценности их были не отрицательные, а *положительные.* И тут, на счастье Толстого, он открыл этот мир.

Он женился по любви, по страстной любви. Стоит привести дневниковую запись от 5 января 1863 года: “Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу — она смотрит на меня и любит. И никто — главное, я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновенье ока, у ней и мысль и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда...” (XXI, 245). Жена ему досталась настоящая помощница и в любви , и в работе. И уже пишет он в письме А. А. Толстой в октябре 1863-го: “Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастие, мне надо подумать о том, что бы было без него. Я не копаюсь в своем положении (gr ь beln 28 оставлено) и в своих чувствах и только чувствую, а не думаю о своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени... — и добавляет (именно той собеседнице, которой сообщал о своем твердом решении покинуть Россию): —...Взгляд мой на жизнь, на *народ* и на *общество* теперь совсем другой, чем тот, который у меня был...” (XVII-XVIII, 608—609).

**ИДИЛЛИЯ И ЭПОС ПРОТИВ ИСТОРИИ**

Вот этот мир семейной помещичьей идиллии он и противопоставил историческому процессу, как он порожден Западной Европой. Если в литературе с XVIII века входит тема крушения идиллии при ее столкновении с движением времени и историей (“Старосветские помещики”, Филемон и Бавкида в “Фаусте”, Обломов и Обломовка), то Толстой рисует победу идиллии над историей. По Бахтину, для идиллии характерна органическая прикрепленность событий жизни “к родной стране со всеми ее уголками”, в этом пространстве жили отцы и деды, будут жить деды и внуки. “Война и мир” вроде бы об этом, но не только. Толстой резко усложняет ситуацию, сопрягая идиллию с эпосом, помещает свою идиллию в эпическое время. Сознательность его обращения к эпическому мышлению очевидна: в 1863 году он записал в дневник: “Эпический род мне становится один естественен” (XXI, 245).

Процитирую Бахтина о трех конститутивных чертах эпопеи: “1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, “абсолютное прошлое”, по терминологии Гете и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 3 ) эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца (автора и его слушателей), абсолютной эпической дистанцией” 29 . Иными словами, эпос — это как бы *внеисторическая история,* которая приобретает черты фаустовского “остановленного мгновения”, вечности. Эпическое время, в котором протекает идиллическая жизнь толстовских героев, есть национальное эпическое прошлое — победа России над владыкой почти всей Европы. Победители же — те, кто вырос среди помещичьих просторов. Дворяне — отцы и родоначальники современности, “лучшие”, как гомеровские герои, они-то и спасли Россию совместно с народом 30 . А правительство, русские немцы, разночинцы и бюрократы только мешали. Вот тот платоновско-гомеровский миф, который Толстой предложил России и миру.

Роман долго мыслился просто как идиллия. В майском письме к Фету от 1866 года он сообщает, что собирается окончить роман “к 1867 году и напечатать весь... и под заглавием *“Все хорошо, что хорошо кончается”* (XVII-XVIII, 650). Название, кстати, шекспировское. В том же письме полушутя, но о серьезном: “Вы читаете Аристофана. Я это очень понимаю и читаю хоть и свежее, но в том же роде — “Дон Кихота”, Гете...” (XVII-XVIII, 650). Как “очень большое” впечатление от литературы в своей жизни (список из 46 наименований) он назвал эпическую идиллию Гете “Герман и Доротея”, которую он прочитал к 35-ти годам 31 , то есть к началу работы над “Войной и миром” и страстной любви к молодой жене. Именно Гете дал ему эпический античный настрой, показал, что античный эпос можно увидеть в современности. Гетевская поэма  начинается  с  беженцев,  которые  бегут  от  войны,  и “добрые немцы” снабжают их своими вещами, — сюжет отзовется в сцене, когда Наташа отдает подводы под раненых, приговаривая: “Мы не немцы какие-нибудь”, — то есть в отличие от немцев мы способны к добру, нам ничего не жалко. Такое беспощадное неприятие немцев можно найти только еще в одной выдающейся книге тех лет — трактате Н. Я. Данилевского “Россия и Европа”, оконченном, как и толстовская эпопея, в 1869 году. Утверждая, что германские и славянские племена друг друга отталкивают, антипатичны друг другу, Данилевский обвинил в неприязни к России именно европейское чувство истории, ибо “этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Россию... Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации. Gemeiner Russe, Bartrusse (подлый русский, бородатый русский. — *В. К.*) суть термины величайшего презрения на языке европейца, и в особенности немца” 32 .

Если Пушкин смел состязаться с западноевропейскими гениями на их духовной территории, а порой и на их материале (“маленькие трагедии”), то Толстой пошел путем отказа и противопоставления русской особности — европейской. Если Пушкин верил в русскую историю как часть европейской, то Толстой вообще объявил историю немецкой выдумкой. Ему казалось, что живущие в динамике истории народы органически чужды статике российской жизни, прекрасной, но, на взгляд Запада, хаотичной и бесформенной. На вопрос, “какая сила движет народами?” (VII, 313), Толстой выстраивает следующее рассуждение: “Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: это *черт* движет его... Мужик неопровержим. Для того чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а *немец* движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба не правы” (VII, 318). Иными словами, либо история движется сверхъестественной силой, либо прав Гегель (*немец!*). Немец, сказавший, что миром правит и историю движет мировой дух, воплощающийся в конкретных личностях 33 . На взгляд Толстого, неверны обе точки зрения.

По замечанию Эйхенбаума, “у Пушкина было органическое и совершенно реальное ощущение исторического процесса и его законов — была *вера в историю*, тогда как у Толстого именно этого, самого важного, самого плодотворного для творчества ощущения не было” 34 . Но он не просто не ощущал историю, он сознательно отказался от идеи истории. Как доверчивы бывали иные советские исследователи! Например, Е. Маймин полагал, что “Толстой полемизирует с традиционной историей и в известном смысле бросает ей вызов. В 60-е годы, работая над “Войной и миром”, он творит историю в согласии со своими принципиальными убеждениями, он пишет историю не героев, а людей, не деяний, а каждодневных дел человеческих” 35 . Но ведь “дела человеческие” — часть истории. И без Наполеона (попробуем вообразить немыслимое) все иные сцены его романа были бы вариацией на темы Дафниса и Хлои, Поля и Виржинии, а не великой национальной эпопеей.

Проблема тем не менее здесь есть. Роман вроде бы об известном историческом событии, а потому в русле попыток русских историков и мыслителей усвоить России идею истории, рожденную христианством. Однако роман не исторический, а эпический (своего рода наша “Песнь о Нибелунгах”) и в известном смысле не христианский. Попытка Вагнера возродить в XIX веке эпос Нибелунгов послужила прелюдией к антихристианскому восстанию немецкого духа. Толстовский эпос преодолевает историю, по сути дела отменяет ее, перенося сознание в некий не реальный, а идеальный хронотоп. Эпосом Толстой спасал свою идиллию, ибо, как полагал Бахтин, крушение идиллии начинается с включения ее в исторический процесс. Но вектор исторического развития был задан рождением Христа, принцип историзма отчетливо прозвучал уже в Новом Завете. На чувстве христианского историзма вырастала европейская культура. Впрочем, Библия в целом не знает победоносной идиллии, райское блаженство Адама и Евы слишком ненадежно и кончается катастрофой. Забегая вперед, заметим, что отрицание Толстым истории было чревато серьезной опасностью и привело его в конечном счете к отрицанию всей общественно-государственной структуры России и перелицовке христианства.

**“БЫЛА НЕКОГДА ТРОЯ, БЫЛИ МЫ ТРОЯНЦЫ”**

Итак, “Война и мир”, по словам Томаса Манна, — это “эпос об отечественной войне против вторжения латинской цивилизации” 36 . В поэме Гете “Герман и Доротея” была совершена попытка поместить идиллические мотивы в ситуацию войны. Но у Толстого не просто война, а война идиллии, природы, стихии против истории и цивилизации. Кюстин написал, что Россия — это страна фасадов. Толстой соглашается с этим, но лишь в той мере, в какой фасады эти выстроены по наущению Европы. Зато Европа и ее представители (в романе — Курагины, Друбецкой, Шерер, Берг) насквозь фасадны и фальшивы.

Стоит, однако, задуматься, почему Наполеон двинулся на Москву, а не на Петербург, где находился царь и все правительство? Скорее всего исходя из западного полумифологического восприятия Москвы как истинного духовного центра России, к тому же оппозиционного Петербургу. Упорно и Толстой, и Наполеон именуют столицей России Москву, то есть *неевропейскую столицу.* Наполеон хочет покорить азиатов, а не европейцев-петербуржцев. Исходя из мысли, что русские не европейцы, а азиаты, Наполеон, полагающий себя “императором Европы”, грозит России выгнать ее из Европы. В романе в уста французского императора вложены такие слова: “...я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить”, — то есть к скифам и сарматам.

Пушкин  называет  Москву  Троей:  “Москва!  Москва!.. *Fuit Troja, fuimus Trojani*... 37 Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму” 38 . В этом контексте поход Наполеона приобретает явное эпико-символическое значение.

Троя отнюдь не была диким азиатским местом. Это было равномощное ахейцам образование, у них были те же олимпийские боги (на стороне Трои была, скажем, богиня любви Афродита). Не забудем, что выходец из Трои Эней основал великий Рим, продолживший устроение античной цивилизации. А уж с Римом Россия не раз пыталась равняться. Гармонию жизни в Приамовом царстве видно даже сквозь проахейскую “Илиаду”. Толстой говорил, что “Война и мир” — это “Илиада”. На самом деле по пафосу это была классическая *Анти-Илиада*, ибо описывала события *изнутри осажденной Трои* 39 . Интересно, что еще в связи с “Севастопольскими рассказами” Дружинин назвал Толстого певцом Трои: “...из числа всех неприязненных держав, войска которых бились *под стенами нашей Трои,* ни одна не имела у себя хроникера осады, который мог бы соперничать с графом Львом Толстым, автором немногих заметок о Севастополе...” 40 (курсив мой. — *В. К.*). И граф не мог этого не знать: с Дружининым он приятельствовал и вполне возможно, что в беседах критик еще подробнее развивал это наблюдение. В “Войне и мире” уже вполне сознательно развита эта ассоциация России с Троей. Враждебная России-Трое Элен Курагина (“прекрасная Елена”) отдается в жены Безухову, alter ego автора, которому Толстой подарил и свои духовные искания, и счастливую в зрелости семейную жизнь. Тот в растерянности: “Ему неловко было, что он один занимает внимание всех, что он счастливец в глазах других, что *он, с своим некрасивым лицом, какой-то Парис, обладающий Еленой*”. Но Троя в этой *новой борьбе* побеждает, прекрасная Елена умирает, а несчастный, измученный бездушной античной красавицей владелец огромного состояния получает в жены истинную троянку.

Но как же из Трои видится вождь ахейцев да и сами ахейцы?

Предваряя портрет, нарисованный писателем, напомню, как русский барин Герцен видел тип европейца, сложившийся к середине прошлого века в результате наполеоновских войн: “Мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна. Это та “курица во щах”, о которой мечтал Генрих IV. Маленький дом с небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери...” Сколько презрения к простолюдину, желающему, чтобы была “его дочь не обречена ни фабрике, ни публичному дому”! Для Герцена мещанство — это последнее слово западной цивилизации, где происходит “демократизация аристократии, аристократизация демократии” 41 . Именно эту мещанскую аристократизацию демократии и изобразил Толстой в Наполеоне. Вчитываясь в толстовское описание Наполеона, отчетливо видишь сквозь одеяние императора черты французского лавочника: “Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на *круглый живот,* в белых лосинах, обтягивающих *жирные ляжки коротких ног*, и в ботфортах... Он вышел, быстро подрагивая на каждому шагу и откинув несколько назад голову. Вся его *потолстевшая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью* имела тот представительный, осанистый вид, *который имеют в холе живущие сорокалетние люди* ”.

Известно определение, данное Гегелем Наполеону, — *“мировой дух на коне”*, а вот как воспринимал французского императора великий немецкий поэт:

“Мы заговорили о Наполеоне, и я высказал сожаление, что его не видел.

— Что и говорить, — сказал Гете, — на него стоило взглянуть. *Квинтэссенция человечества!*

— *И это сказывалось на его наружности?* — спросил я.

— *Он был квинтэссенцией,* — отвечал Гете, — *и по нему было видно, что это так,* — вот и все” 42 (курсив мой. — *В. К.* ).

Как видим, оценки Наполеона у Толстого и Гете диаметрально противоположны. Отсюда идет и характеристика всех ахейцев, пришедших под стены Трои, как дураков и пошляков. Даже Рамбаля, с которым беседует Пьер и который рассказывает любовную историю, напоминающую историю Жюльена Сореля из романа Стендаля “Красное и черное”, он изображает таким мелким пошляком, что читатель может воскликнуть: если лучшие из французов таковы, то каковы же худшие! При этом напомним, что и Стендаль, у которого (по его собственному признанию) Толстой учился писать батальные сцены, тоже был в Москве во время наполеоновского похода, и созвучие имен вполне подсказывает нам, кого мог иметь в виду Толстой, рисуя Рамбаля.

Любопытно наблюдение К. Леонтьева: “Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся и что Пушкин написал в *40-х* годах большой роман о 12-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? *Нет, не так*!... Пушкин не стал бы даже (вероятно) называть от себя бегущих в каретах и шубах маршалов и генералов французских “злыми и ничтожными людьми, которые наделали множество зла...”, как в “душе” не называли их, *наверное*, в 12 году те самые герои-русские, которые гнали их из Москвы и бранили их по страсти, а не по скучно-моральной философии. Тогда воинственность была в моде, и люди образованные были прямее и откровеннее нынешних в рыцарском мировоззрении своем” 43 .

Да и к Наполеону Пушкин отнесся не как Толстой, а, подобно Гете, как к “великому человеку”, “могучему баловню побед”, над прахом которого “луч бессмертия горит”, к тому же пробудившему величие российской державы, ибо французский император показал невольно крепость европейской России:

Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

(А. С. Пушкин, “Наполеон”.)

Для Пушкина — наполеоновское нашествие способствовало державному становлению России, как и петровские войны. Благодаря Наполеону русский *народ-нация* (а не русский *народ-крестьянство*) осознал свой высокий жребий среди других народов, выступив на стороне и в защиту Европы. Более того, современники Пушкина чувствовали себя такими же европейцами, как и французы. Они сражались **за Родину** (но не против французской и вообще европейской культуры, достаточно напомнить пушкинского “Рославлева”) и **за Европу.** Часто говорят, что с “Бонапарте” на Россию обрушилась вся Европа. Стоит обратиться к фактам. Наполеон завоевал сначала Европу. Завоевал Италию, Испанию, Австрию, как она ни сопротивлялась, разбив заодно русских союзников, потом Пруссию, готовился к войне с Англией, объявив ей континентальную блокаду, которую Россия, кстати, поддержала. С французским императором была не единая Европа, а покоренная Европа — разница огромная. “Вся *вассальная Европа покорно* готова была выступить против России” 44 (курсив мой. — *В. К.*). Но Наполеон “знал, что положиться он может лишь на французскую часть своей армии” 45 .

Толстой же описывает в “Войне и мире”, как национальном эпосе, *столкновение культур.* Поэтому способ изображения у него при всей вроде бы внешней объективности тона эпически-гротескный. Французов он рисует как идиотов, так одно время советская литература изображала немецких фашистов. Непонятно, однако, почему мы так долго отступали перед идиотами и в чем величие победы, раз победили дураков? Да и как быть с предыдущими победами Наполеона? Ответ Толстого удивительно прост . Предыдущие победы были над немцами, а немцы еще большие идиоты, чем французы. Старик Болконский перед Аустерлицким сражением презрительно произносит: “Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга. Он на них свою славу сделал” 46 . Отступали мы тоже из-за бессердечности и глупости засевших в русских штабах “русских немцев”. Накануне Бородинского сражения Пьер и князь Андрей слышат разговор Клаузевица и Вольцогена о необходимости перенести войну в пространство, чтобы ослабить неприятеля, — и вот реакция: “— Да, im Raum verlegen 47 , — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это все равно. Вот оно то, что я тебе говорил, — эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того,  что  одно  только  и  нужно  на  завтра, — то,  что  есть в Тимохине. Они всю Европу отдали *ему* и приехали нас учить — славные учители!..”

Кстати, герои Толстого свободно говорят по-немецки и, разумеется, по-французски. Зато французы не говорят по-немецки, а немцы по-французски (сцена Пьера и Рамбаля, когда виртембергские гусары пытаются занять дом, уже занятый Рамбалем). Ненавязчиво сообщается, что немцы воевали по обе стороны, в том числе и за покорившего их страну Наполеона. Иными словами, немцы выступают у него как внутренние враги Трои-России, невольные, некупленные, но враги, ибо *чужие.* Можно сказать, что тема *чужого* есть *центральная тема романа-эпопеи,* как, впрочем, и положено национальному эпосу.

**НЕМЕЦ КАК ЧУЖОЙ**

Немцы научили русских любить французов, говорил Герцен. Но это справедливо для эпохи Просвещения, которой принадлежал Гете. Позже в полемике с французами возникла — призывавшая к *поиску корней*, утверждавшая приоритет народного и национального — романтическая немецкая школа, которая породила и русское славянофильство. Именно от немецких романтиков пошло теоретическое восприятие *европейца как чужого.* Но это отыгралось немцам. Более восточные соседи отвергли их самих по тем же основаниям — как европейцев, даже как квинтэссенцию Европы, как чужих.

Особенно в “Войне и мире” прозвучала эта рожденная в Германии неприязнь к чужеземному элементу, пронизывающему поры России. Раньше это не замечалось, но с движением времени проступают скрытые черты. Сошлюсь на уже цитированного современного литератора: “С начала романа и далее везде задеваются немцы. Толстой, в отличие от Достоевского, не имеет репутации националиста, однако ж, если поляки и евреи его мало волнуют, немцам он готов всыпать при каждом удобном случае. Это и радостный дурак Берг, и гувернер-немец, страдающий за обедом из-за того, что дворецкий обнес его бутылкою... Особенно злобно высмеиваются немецкие военные принципы, ставшие пресловутой формулой неметчины “ди эрсте колонн марширт... ди цвайте колонн марширт... ди дритте колонн марширт”... Слова князя Андрея: “В его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца”, — относятся не к кому-нибудь, а к самому Клаузевицу.

Вообще во всем, что касается соотнесения русского и иностранного, автор “Войны и мира” проявляет себя крайним патриотом” 48 .

Проверим это наблюдение. Итак, немцы. Начинается роман с салона немки Анны Павловны *Шерер*. Именно там собирается омерзительный высший свет, “веретена” которого “запускает” фрейлина вдовствующей императрицы, тоже немки. Петербургским светом заправляют немцы и негодяи. Отчество нелюбимой жены князя Андрея Лизы — *Карловна* (немка?). В высшем смысле и французы для Толстого тоже *немцы, немые*, не умеющие разговаривать с жизнью, с природой, с сутью вещей. Они много говорят, а разговаривать с сутью можно только *молча*, как Кутузов, как пушкинский антипод Тютчев. Но немцы для Толстого еще хуже, ибо *заменяют живую жизнь теорией.* Надо сказать, что отрицание теории как таковой сродни отрицанию истории и в смысле нравственной позиции весьма проблематично. Любопытно, что против теоретизирования упреждал немцев Мефистофель: “Теория, мой друг, сера,/но вечно зеленеет древо жизни”. Правда, это-то и был дьявольский искус, как заметил один современник Гете: “Как же распознать печать Адову? ... Девиз посланцев Ада выдал Мефистофель в “Фаусте”: теория сера и т. д.” 49 .

Вот внутренняя речь князя Андрея, незаметно переходящая в авторскую: “Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, т. е. мнимого знания совершенной истины... Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина”. *Толстой при этом, по-видимому нарочно, пишет фамилию немецкого генерала Фуля — Пфуль, то есть придавая ее звучанию уничижительный оттенок.* Теперь другой немец — *Альфонс Карлович Берг*: “свежий, розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта”. Двоюродный брат графини Ростовой Шиншин о Берге: “Немец на обухе молотит хлебец”, то есть в любых условиях способен подумать о запасах на будущее.

А вот полковник-немец, начальник Николая Ростова, привез известие о манифесте об объявлении войны и всячески его поддерживает. “Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно служака и патриот... с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью”. Вообще, русский патриотизм немцев вызывает у Толстого сомнение, потому что он неподлинный (у *чужака* не может быть подлинного). Характерен пример, когда перед Бородинским сражением носят по полкам икону: “За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных”. Это русские. Немцы в русской армии относятся к национальным святыням равнодушно-казенно (вспомним образок ангела в “Детстве”, который неловко толкнул Карл Иваныч): “Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, *не крестясь (очевидно, немец)*, терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, *для возбуждения патриотизма русского народа* ” 50 .

Удивительна германофобия образованных Ростовых: граф Ростов при начале войны говорит, что всем пожертвует и что дело не в патриотизме, а в слове государевом, призывающем на защиту родины: “Только скажи он слово, мы все пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...” Ему вторит Наташа, освобождая подводы от вещей, чтобы вывезти на этих подводах раненых, и восклицая, что не помочь раненым — “это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю! Разве мы немцы какие-нибудь?..” Хорошими типично русские Ростовы себя чувствуют лишь в сравнении с немцами, которые для них — воплощение всего низменного, как для антисемита евреи. Так и слышится: “Мы добрые, мы не евреи какие-нибудь...” Впрочем, слова Наташи не беспочвенны. В этой же сцене, за полстраницы до восклицания Наташи, Берг просит дать ему мужика, чтобы подобрать брошенные московскими жителями вещи и перетащить к себе — для личного домашнего обустройства.

Не отстает от сестры и Николай: “И Ростов, *для того чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю,* представлял себе врага или *обманщика-немца*, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя”. Друг друга, однако, Наташа и Николай иначе чем “прелесть” не называют.

Отметим, что почти все действие первого тома (война) — в Австрии и в немецких землях: Вена, Брюнн, деревня Шенграбен, Аустерлиц, Ульм, Ламбах, Амштетен, Мельке, Браунау (победа русских, кисло принятая австрийским двором), Берлин, Кремс, Цнайм и пр. А потому Толстой рисует и отношение к немцам простых русских солдат перед Аустерлицем:

“Ежели бы русское войско было одно, без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка сделалось бы общею уверенностью; но теперь, с особенным удовольствием и естественностью относя причину беспорядков к бестолковым немцам, все убедились в том, что происходит вредная путаница, которую наделали колбасники...

— Эх, немцы проклятые, своей земли не знают!”

О маршировке колонн Толстой пишет по-немецки (“Die erste Colonne marschirt, die zweite Colonne marсhirt”). Вообще эти немецкие фразы на протяжении романа употребляются как символ военной бессмыслицы, непригодности любой, в том числе военной, немецкой теории к живой жизни. Но любопытно, что все слова, относящиеся к военной службе, которые употребляют сам Толстой и ругающие немцев его герои, суть слова немецкие и французские (то есть для антиевропейского сознания тоже немецкие): *диспозиция, колонна, фланги, армия, штаб, атака, диверсия, план, рапорт, генерал, офицер, корпус, ординарец, адъютант, кавалергард, артиллерия, лагерь, унтер-офицер, командир, дивизия и т. п.* И выслушивая инвективы графа против немцев, не надо забывать, что, когда писалась “Война и мир”, был как раз выпущен Далем его великий словарь, а до того немцы Шлецер и Востоков занимались русской древностью, Гильфердинг исследовал и издал русские былины и песни и пр.

Но Толстой словно и не помнит этого. Немцы не привносят в Россию, а выносят из нее. И если кто и грабит Россию, ее святыни, то это немцы:

“Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.

— Народу-то! Эка народу!.. И на пушках-то навалили! Смотри: меха... — говорили они. — Вишь, стервецы, награбили... Вон у того-то сзади, на телеге... *Ведь это — с иконы,* ей-Богу!.. *Это немцы, должно быть* ”.

Чем же объяснить такое негативное отношение к немцам как элементу русской жизни?

**РАЗНОЧИНЦЫ — НЕМЦЫ — ЛАКЕИ...**

Плеханов писал, что напрасно полагают “Войну и мир” абсолютно гармоничным и непротиворечивым сочинением. Вся она направлена против разночинцев, доказывает, что именно без них два класса — дворянство и крестьянство — и составляют могучую силу. Об этом же пишет и влюбленный в Толстого Алданов: “Не любил Толстой средние классы — среднее дворянство, чиновников, купцов, в особенности купцов либеральных. Нерасположение шестнадцатилетнего Николеньки Иртеньева к людям, плохо говорящим по-французски, кажется, осталось у Льва Николаевича до конца его дней” 51-52 . Создавая образ Сперанского, быть может, он имел в виду Чернышевского (написавшего, кстати, о Сперанском статью под названием “Русский реформатор”), тоже семинариста, разночинца, тоже властителя дум, который получил невероятное влияние в обществе — отчасти политическое (лидер оппозиции) и безусловно литературное. Но и Гете разночинец, Наполеона тоже подняли во власть буржуа. Сам он “маленький капрал”, не родовитый, а очень мелкий дворянчик. Роман же о том, как высшее сословие находит общий язык с народом. Мужики чуть-чуть бунтуют, когда их подзуживают мещане-французы (Наполеон), но дворянин Ростов их быстро укрощает.

Толстовское неприятие разночинцев исходило из неприятия им свободы личности. Разночинец — вне чинов, вне строгих сословных связей, он вынужден сам выбирать свою позицию, он поневоле провоцирует некую нестабильность, хочет каких-то перемен. Трагические герои Достоевского — разночинцы. У Толстого почти нет трагических героев (только осужденная им Анна Каренина и выбитый из норм патриархальной жизни Хаджи-Мурат). Из истории он изгоняет свободу воли для Другого, оставляя ее для себя — в отрицании истории, прогресса, науки и т. п.

Вот как — вполне иронически — он пишет в эпилоге: “Для истории признание свободы людей как силы, могущей влиять на исторические события, то есть не подчиненной законам, — есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных сил”. И категорически заключает: “Как для астрономии трудность признания движения земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности земли и такого же чувства движения планет, так и для истории трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности... В первом случае надо было отказаться от сознания несуществующей неподвижности в пространстве и признать неощущаемое нами движение; в настоящем случае — точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость”.

Это прямая полемика с протестантской (то есть по сути дела разночинской, буржуазной) философией истории Гегеля, писавшего, что “применение принципа свободы к мирским делам, это внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения является длительным процессом, который составляет самую историю”. Говоря об отличии принципа как такового от его осуществления в реальности, Гегель замечал, что это отличие “по отношению к христианскому принципу самосознания, свободы, имеет существенное значение и по отношению к принципу свободы вообще. Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости” 53 .

*Если Достоевский совершил (по Бахтину) коперниканский переворот, поставив в центр своих романов свободную личность, то Толстой от свободы отказался.* А в XIX веке свобода была связана с идеей просвещения. Но опыт яснополянской школы убедил Толстого, что грамотность чужда народу, что грамотный, как правило, выбивается из структур общинного сознания. Разночинцы как носители книжного знания выступают в эпопее как чуждый элемент. Граф решительно и безапелляционно отрицает в романе не только историю и теорию, но вообще книгопечатание: “Только в наше самоуверенное время, популяризации знаний, благодаря *сильнейшему орудию невежества — распространению книгопечатания*, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, то есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороной вопроса, за разрешение всего вопроса”. Он словно не замечает своего противоречия, что отрицание книгопечатания заявлено *в книге*, причем в книге, которую он публиковал в журнале, а потом не раз тиражировал в отдельных изданиях.

Разночинцам вроде бы отведено чрезвычайно мало места в романе. Но все же они есть. Из русских — кузина молодых Ростовых Соня. Она выбита из сословных рамок, за ней нет приданого, никто за нее не заступится, она сама должна отвечать за себя. И отвечает любовью и благородством, отказываясь от выгодного брака бесприданницы с Долоховым во имя любви к пустоватому Николаю, который затем ради поправления семейных дел женится на богачке княжне Марье. Но поразительно, как вдруг Ростовы начинают называть Соню интриганкой, лишь только возникла у них сложность с деньгами и потребовалось женить Николеньку на богатой. И добрая Наташа называет Соню “пустоцветом”. Это одно из мест романа, которое поражало исследователей творчества графа своей жестокостью, где он выступил под стать не любимому им впоследствии Ницше.

Именно об этом написал русский философ Шестов: “В “Войне и мире” он произносит суровый приговор над Соней, этой добродетельной, любящей и так глубоко преданной семье Ростовых девушкой... Соня — пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие эгоизма, несмотря на то, что она вся — преданность, вся — самоотвержение. Эти качества в глазах гр. Толстого — не качества, ради них — не стоит жить; кто ими только обладает — тот лишь похож на человека, но не человек. Наташа, вышедшая замуж за Пьера через несколько месяцев после смерти князя Андрея, княжна Марья, которой “состояние имело влияние на выбор Николая”, — обе, умевшие в решительную минуту взять от жизни счастье, — правы. Соня — неправа, она — пустоцвет... Таков вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был у него в эпоху создания “Войны и мира”. В этом произведении, в котором автор подводит итоги своей 40-летней жизни, добродетель an sich, чистое служение долгу, покорность судьбе, неумение постоять за себя — прямо вменяются человеку в вину” 54 .

Стоит здесь отметить, что добродетели Сони — типично бюргерские добродетели, бесспорно свойственные гетевским Маргарите (Гретхен) или Доротее. В этом смысле Соня — классическая, идеальная немка. Но разночинские и немецкие добродетели Толстому ненавистны. На его взгляд, у них *нет силы жизни*, устойчивости и особой барской хватки за жизнь.

Вообще, неустойчивость мира не может быть константной для героев Толстого. Пьер может попасть в *плен*, но плен — это временное состояние. Поэтому резкое заключение С. Боровикова имеет под собой основание: “Реалии: благородства, патриотизма и проч. Болконских, Безуховых, Ростовых основаны на н е з ы б л е м о с т и порядка вещей, в котором они существуют. Отними у князя Андрея Лысые Горы, Богучарово и проч.? И все напряженные духовные поиски Пьера возможны ли без его гигантского состояния? Когда Николай Ростов, при всем благородстве, оказался  без  оброка, то с и-д е л д о м а и к у р и л т р у б к у, и лишь деньги жены вернули его к жизни” 55 .

Князь Андрей отдает должное Сперанскому (“ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им — им одним...”), но характерно, что ссылка Сперанского приходится на 1812 год, на начало войны с Наполеоном, как и убийство толпой, подстрекаемой графом Растопчиным, разночинца Верещагина 56 . В этом столкновении культур они не нужны. Они — чужие. Как тонко подметил Леонтьев, князь Андрей думает “очень много, но так непривычен к связности и твердости мысли, что при встрече с семинаристом Сперанским поражен ученою, *западною* связностью его мышления” 57 . Он не может понять его, это человек из другого мира: “Вообще, главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая *вера в силу и законность ума* ”.

Верящий в законность ума — это, по сути дела, просветитель, учитель, пытающийся утвердить цивилизованные нормы в своем обществе. Заметим, что просветителем считается Гете, который, кстати, как и Сперанский, был министром при дворе, всячески способствуя просветительски-образовательным тенденциям Веймарского герцогства. Великий немецкий философ Гегель одно время был директором гимназии, а затем профессором в Берлинском университете, тоже отчасти способствуя превращению Пруссии в *просвещенную монархию.* Но Сперанскому, как и всем учителям, “не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль”: а “не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю”.

Эта уверенность в собственной непогрешимости раздражала князя и в немецких военачальниках. Но *учитель — для барина всего лишь лакей,* которого можно уволить: вспомним Карла Иваныча. Именно эту функцию разночинцев-учителей, приглашенных на службу, выполняют в романе немцы. Они все — разночинцы, которые пытаются проникнуть и стать своими в органике русской жизни. Но наступает великое испытание — Отечественная война, и их чуждость становится очевидной.

Поскольку все немцы верят в ум и теорию, поскольку все они учителя, то, стало быть, и лакеи. Даже такой полководец, как **Барклай-де-Толли.** Князь Андрей в рассуждениях о войне — рупор автора, и вот что он говорит: “Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. *Он не думал об измене*, он старался все сделать как можно лучше, он *все обдумал*; но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, *что он все обдумывает* очень основательно и аккуратно, *как и следует всякому немцу.* Как бы тебе сказать... Ну, *у отца твоего немец-лакей*, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты *прогонишь лакея* и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но *чужой* человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек”. Поразительного много в этом рассуждении. Во-первых, Барклай не немец, а шотландец, но ошалелое почвенничество всякого чужого (разве что не француза) обзывает немцем. Во-вторых, почему полководец сравнивается с лакеем и почему, как только отец заболел, лакея непременно надо выгонять? Как-то по-троекуровски это звучит. Почему не присоединить свои усилия к усилиям лакея, сделать свои усилия главными, но оставить лакея в помощь? Почему выгнать — то есть без всякой душевной благодарности за прежние услуги? А как диктовал еще Карл Иваныч своему воспитаннику Николеньке: “Von al-len Leiden-schaf-ten die grau-samste ist... die Un-dank-bar-keit...” 58 И в-третьих: родину в России принято сравнивать с матерью. Откуда сравнение с отцом — не из немецкого ли Vaterland? И в-четвертых, почему же непременно раз немец, то лакей? Напомним стихотворение Пушкина о Барклае — “Полководец”:

О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
*Всё в жертву ты принес стране тебе чужой...
И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,*Своими криками преследуя тебя,
Народ, *таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою...*

(Курсив мой. — *В. К.*)

А по князю Андрею, всего-навсего “прогнали немца-лакея”. Толстой не мог это стихотворение не знать, как и стихотворение “Наполеон”, но он спорит с пушкинской — европейской — идеей истории. Истории для него нет, есть “мнение народное”, над которым в “Борисе Годунове” с грустью иронизирует Пушкин, показывая, как оно привело на трон Самозванца. Впрочем, тема противостояния Толстого Пушкину (вопреки казенным, псевдопатриотическим и расхожим утверждениям об их близости 59 ) заслуживает специальной работы. Приведем, однако, письмо Толстого Страхову — уже после создания романа-эпопеи (3 марта 1872 года): “Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, Бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет” (XVII-XVIII, 706). По Толстому, Пушкин не народен. К тому же Пушкин называл себя “мещанином”, самый любимый герой его — разночинец Евгений из “Медного всадника” 60 , трагедию которого он увидел и воспел.

Впрочем, Толстой отнюдь не был ксенофобом, он не принимал немцев именно как разночинцев-учителей. В эпической борьбе культур он сам хотел выступить в роли Учителя. Но при этом восхищался некоторыми мыслями Канта, очевидно ссылался в “Войне и мире” (по крайней мере дважды!) на Гердера. Более того, при внимательном чтении мы можем увидеть в романе — *помимо открытого неприятия немцев как чужих стихии русской жизни* — скрытое, а может, и невольное использование некоторых символических образов немецкой философии, подражание его героев явлениям немецкой политической жизни и следование самого автора за рассуждениями своих героев-немцев.

**НЕМЦЫ КАК ТАЙНЫЕ СОВЕТНИКИ**

Начнем с символики. Но не шуточной, вроде того, что Гете тоже был тайным советником. Разумеется, Толстой обращается к тем символам, которые близки его пониманию мира как неподвластной разуму стихии, но, привыкнув к его отрицанию всяческого германизма, исследователи не всегда даже эту близость замечают. Скажем, Алданов был уверен, что “то “das ewig Eine”, которому всю жизнь “удивлялся” Гете, “звездное небо” Канта — в толстовстве не находят места” 61 . И все же иногда вкусы великого немца и великого русского совпадали. Толстому очень нравился этот образ единства “звездного неба” и “морального закона”. Алданову возразил Бунин, но не разобрал толстовские реминисценции из Канта подробно. А стоило бы.

Прямая ссылка есть в трактате “О жизни” (1886—1888), где эпиграфом как раз и стоят знаменитые слова Канта (причем по-немецки). Но гораздо более интересны эти реминисценции в “Войне и мире”. Они вплетены в ткань романа, а потому и не воспринимаются как скрытая цитата. Но стоит приглядеться, чтобы увидеть *кантовское небо* 62 . Начнем с общеизвестного высокого и бесконечного неба князя Андрея на поле Аустерлица. Хотя звезд нет, но небо сопрягается с пробуждением морального закона в душе, перед которым суетными кажутся человеческие страсти и тщеславия. Князь Андрей падает раненный на Аустерлицком поле боя: “Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..”

Звезд здесь нет, но идея бесконечности сопряжена с пробуждением высшего Я в человеке. Еще более явно это в той сцене, когда Пьер едет по ночной Москве, объяснившись в любви Наташе Ростовой и нравственно поддержав ее после катастрофы с Курагиным. Он чувствует торжество “лучшего человека” в себе и удивляется толпе, боящейся кометы как предвестия грядущего катаклизма (кстати, вполне шекспировский прием), и что же он видит? “Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами *стояло темное, звездное небо.* Пьер, *только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа.* При въезде на Арбатскую площадь *огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера.* Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812-го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства... *Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе* ”.

Интерес к учению Гердера проявляют и Пьер, и князь Андрей, и офицеры накануне Шенграбенского сражения (последнее  в  черновиках;  см.  об  этом  в  примечаниях:  IV, 394—395). Пьер же прямо излагает идеи из знаменитой книги немецкого философа “Идеи к философии истории человечества”: “Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях. Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что, кроме меня, надо мной живут духи и что в этом мире есть правда”. Пьер переживает мировые идеи как свои личные, “выстрадывает” их, эта способность дана именно русскому уму. Ум Болконского, менее подверженный метафизике , более почвенный, чувствующий свою органическую связь с землей, со своим имением, с крестьянами (Лысые Горы, Богучарово, староста Алпатыч), отстраняет идеи, высказанные Пьером, как нечто чуждое, не принадлежащее его другу. “Да, это учение Гердера, — сказал князь Андрей, — но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает”.

Если всмотреться, то роман замыкается в своего рода “немецкое” кольцо. Начинается он с салона немки Анны Павловны Шерер, фрейлины императрицы Марии Федоровны, вдовы императора Павла, урожденной принцессы Вюртембергской, тоже, разумеется, немки, — и завершается разговором Пьера, Денисова и Николая Ростова о немецком Тугендбунде.

В салоне немки Шерер мы погружаемся в проблематику романа и знакомимся с главными героями — Пьером, Курагиными, Андреем Болконским, она первая произносит все фразы, которые подаются Толстым иронически, с насмешкой, но которые определят далее идейную проблематику романа. Например, слова Шерер: “Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю...”. Не этот ли ригоризм у Толстого: если не согласитесь со мной, я вас знать не хочу. И далее: “Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. *Россия одна должна быть спасительницей Европы...* Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня”. Резюмируем ее соображения и их отзвук в романном сцеплении идей: 1. Наполеон как главный враг, и не просто враг, но Антихрист (вспомним Пьера, который в третьем томе собирается этого Антихриста убить). 2. Россия спасет Европу (это пафос всего толстовского романа, особенно заключения). 3. Немцам верить нельзя, они поддаются французам, а потому неверные союзники (об этом на каждой странице) .

Когда Пьер собирается убить Наполеона, ему на память приходит опять иноземный опыт. “Пьер знал все подробности покушения немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809-м году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его”. Но опять немец выступает в качестве учителя, причем такого, которому не стыдно подражать.

Пьер вообще склонен к внутреннему усвоению благородных идей, какого бы они ни были происхождения. Один из будущих декабристов, он живо воспринимает идеи рожденного сопротивлением Наполеону немецкого Тугендбунда 63 . Он излагает эти идеи русскому партизану Денисову, но натыкается на характерную русскую поправку, которая превращает немецкую идею в нечто прямо противоположное. Вот их диалог: “ — Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу 64 ), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос... вот что такое было немецкий тугендбунд и тот, который я предлагаю.

— Ну, бг’ат, это колбасникам хог’ошо тугендбунд. А я этого не понимаю, да и не выговог’ю, — послышался громкий, решительный голос Денисова. — Всё сквег’но и мег’зко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нг’авится — так *бунт*, вот это так! Je suis vot’e homme! 65 ”

Вообще, Пьер, единственный из героев романа, написан как человек, поглощенный не честолюбием, как князь Андрей, не бретерским самоутверждением, как Долохов, не армейским гусарством, как Денисов, не жизнеустройством, как Берг или Ростовы, а непрестанными *духовными поисками своего места в мире и познания мира как целого.* Из положительных героев романа Пьеру противостоят, по сути дела, именно Ростовы — “Простые”, как именовал их граф в черновиках романа. Они заняты лишь жизненными проблемами — устройством обедов, пристраиванием дочерей повыгоднее замуж, негодованием на “интриганку” Соню, мешающую Николеньке найти выгодную жену, и, наконец, все венчает хозяйственное усердие Николая в эпилоге (в отличие от Пьера, который думает о судьбе России). У Алданова есть удачная характеристика двух семей: “Перед нами две семьи: семья Болконских и семья Ростовых. В первой идет напряженная духовная работа... Напротив, в семье Ростовых никто никогда не “мыслит”, там даже и думают только время от времени... И что же? Ростовы все счастливы, они блаженствуют от вступления в жизнь до ее последней минуты. Если их постигают беды, то они носят чисто случайный характер, как, например, разорение. Напротив, Болконские все несчастны... Правда, княжна Марья наслаждается в конце поэмы безоблачной семейной жизнью. Но ведь на то она перестала быть Болконской; она стала Ростовой...” 66 То же самое и с духовными мучениями *русского Фауста* (?) — Безухова. Он женится на Наташе Ростовой, которая без зазрения совести оправдывает предательство брата по отношению к кузине и подруге детства Соне, ибо так лучше и выгоднее для Ростовых. И, став мужем Наташи, Пьер обретает то душевное равновесие, которое не мог ему и Каратаев дать.

Так кто же Пьер? Ужели слово найдено?

**РУССКИЙ ФАУСТ?..**

*Русскими Фаустами* у нас именовали многих русских героев. Чаще всего Ивана Карамазова, наиболее мыслящего, глубокого и трагического, к тому же испытывающего дьявольское искушение, напрямую столкнувшегося с чертом. Но, быть может, наиболее сознательное следование и возражение образу, созданному Гете, мы находим в эпопее Толстого. Столкновения и борьбы с чертом у Безухова нет. Но есть нечто более важное — раздвоенность души, тянущейся одновременно и к небесному, и к плотскому, земному. Черт всего лишь порождение этой мучительной раздвоенности. Пьер признается в том, что его влекут женщины, он пьянствует, объедается, распутничает, но он же самый искренний искатель высших смыслов, всю душу вкладывающий, скажем, в масонские дела по переустройству души и мира. Но именно об этой своей двойственности говорит и Фауст:

Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.

Так что у Пьера, как и у Фауста, две жизни. Первая — приятие *этого* мира: кутежи, женитьба на Элен, дуэль и пр. (то есть жизнь Фауста до Маргариты). Но, как и немецкий ученый, он мучается этой жизнью, ищет лучшего себя. Вторая — как результат духовных поисков.

Как я уже пытался показать, чтение и перечитывание Гете, духовное соперничество с ним во многом определяло творчество Толстого. “Фауста” он читал не раз. Причем трагедия эта обсуждалась постоянно в среде русских писателей. Пушкин писал парафраз на “Фауста”, В. Ф. Одоевский героя своего философского романа “Русские ночи”, выразителя авторской позиции, именовал Фаустом, Тургенев одну из лучших своих повестей прямо назвал “Фауст”. Но это были переосмысления, парафразы, следование. Толстой пытается создать нечто равномощное.

В процессе писания “Войны и мира” он вновь перечитывает “Фауста”. В дневнике от 9 марта 1865 года есть такая запись: “Оба дня писал, поправлял... “Фауст” Гете читал. Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство” (XXI, 255). Гете задает ему соревновательный пафос, предлагает тот захват проблем, который осуществляет Толстой в эпопее: единство образной системы и размышлений. Кстати, сравнение одного из героев “Войны и мира” с Фаустом в русской литературе уже звучало.

Алданов называет Андрея Болконского русским Фаустом 67 . Но князь Андрей не занят духовными поисками. Его позиция слишком определенна. Ищет тайных смыслов (масоны), глубины жизни и смерти (дуэль с Долоховым), любви (открытие вечной женственности — ewig weibliche — в Наташе Ростовой) Пьер Безухов. Характерна фамилия — *Безухов*, то есть глухой, недоступный внешним шумам, чей слух закрыт для суетного мира и открыт внутренним созвучиям земли и неба (напомним хотя бы кабалистику с цифрами, в которые он играл, чтобы найти человека, который освободит мир от Антихриста-Наполеона, — типичный чернокнижник вроде Фауста).

Любопытно, что образ героя строится как антипушкинский. Его *Петр Кирилыч* Безухов даже по имени — антипод *Кирилы Петровича* Троекурова, а вспышки дикого барского куража и разгула, которые у него тоже есть, Толстой оправдывает или даже любуется ими (осуждают Пьера за случай с квартальным, привязанным к медведю, противные Курагины), показывает вынужденность многих из них (дуэль с Долоховым из-за измены Элен, расколотая мраморная доска после гнусного требования жены, показывающего ее нелюбовь: “Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Элен... — Расстаться, вот чем испугали!”).

Но именно в этой страстности очевидное для Толстого проявление нерядового характера. Мефистофель так определяет Фауста:

Нрав дан ему отчаянный и страстный.
Во всем он любит бешенство, размах.

Вообще, имя Петра несет у Толстого при этом очевидно положительный заряд — это и Пьер, и Петя Ростов... И не просто положительный, а отчасти сакральный. Это человек, способный тосковать о горнем. Пьер (Pierre) — по-французски значит камень (Анна Павловна Шерер называет его “monsieu r Pierre”), но тут также надо вспомнить евангельское о Петре как камне: “И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Мф. 16, 18).

Камень, который ложится в основание великой постройки. Что же строит Петр Кириллович Безухов?

Пьер становится франкмасоном, то есть вольным каменщиком, строителем Соломонова храма — храма мудрости и добродетели, основанной на евангельском учении. Любопытно, что Гете тоже был масоном. И вот Петру Кирилловичу Безухову вручают кожаный фартук и лопату, “чтоб он трудился ею очищать свое сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего”. Но интересно, что, вступая в орден масонов, Пьер начинает с того, чем заканчивает Фауст. “Противоборствовать злу, царствующему в мире... — повторил Пьер, и ему представилась его будущая деятельность на этом поприще”. Из масонских идей “последняя — исправление рода человеческого, особенно близка была Пьеру”.

Я людям руки распростер.
Я грудь печалям их открою
И радостям — всему, всему,
И все их бремя роковое,
Все беды на себя возьму.

И вот он начинает действовать почти как Фауст. Собрав своих лемуров, то есть управляющих его имениями, “он сказал им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказываема помощь...”. Как Фауст, мечтающий отвоевать у моря кусок земли, чтоб увидеть там “народ свободный на земле свободной”, так и Пьер мечтает отвоевать у моря русского рабства кусок свободной земли хотя бы в своих поместьях. И главноуправляющий, самый хитрый лемур, со всем соглашается. Фауст надеется:

Я жизнь их не обезопашу,
Но благодатностью труда
И вольной волею украшу.

Вместо этого гибнут Филемон и Бавкида. Он думает, что нанятые рабочие осушают болото, а на самом деле это лемуры роют втихаря ему могилу. Точно так же и у Безухова *лишь кажутся* осуществленной явью мечтания: “Во всех имениях Пьер видел своими глазами по одному плану воздвигавшиеся и воздвигнутые уже *каменные* (то есть прочно и навсегда. — *В. К.*) здания больниц, школ, богаделен, которые должны были быть в скором времени открыты. Везде Пьер видел отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных против прежнего, и слышал за то трогательные благодарения депутаций крестьян в синих кафтанах”. Но на самом деле, как и в случае с Фаустом, происходило нечто совсем другое: “Пьер не знал, что там, где ему подносили хлеб-соль и строили придел Петра и Павла, было торговое село и ярмарка в Петров день, что придел уже строился давно богачами-мужиками села, теми, которые явились к нему, а что девять десятых мужиков этого села были в величайшем разорении... Он не знал, что каменные, по плану, здания воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьян, уменьшенную только на бумаге. Он не знал, что там, где управляющий указывал ему по книгам на уменьшение по его воле оброка на одну треть, была наполовину прибавлена барщинная повинность. И потому Пьер был восхищен своим путешествием по имениям...”

Но, как уже сказано, Пьер в начале своего пути испытывает то, что Фауст испытал в конце своего земного пути. А потому он — другой Фауст, у него другой путь. Параллели, однако, на теме благоустроения мира не кончаются. Как мы знаем, Пьер (еще в первом томе, в начале своего поприща, еще до масонства) женится на Элен Курагиной, которая является явной аналогией Елены Прекрасной из троянского мифа, а Пьер себя чувствует Парисом. Но здесь отсылка не только к “Илиаде”, но опять-таки к “Фаусту”, и очевидная с ним полемика. Напомним, что во второй части гетевской трагедии Фауст вступает в брак с Еленой Прекрасной, той самой, реальной, из “Илиады”, троемужницей — женой поочередно Менелая, Париса и Деифоба. Но и Элен троемужница; не считая бесчисленных любовников, она кроме Пьера, — при живом муже, как и Елена Прекрасная, — собирается замуж еще сразу за двоих — “вельможу, занимавшего одну из высших должностей в государстве”, и “молодого иностранного принца”. Именно не разводясь, а как-то так. “По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись со своим мужем (ежели бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения), но прямо распространился слух, что несчастная, интересная Элен находится в недоумении о том, за кого из двух ей выйти замуж”.

Для Фауста Елена Прекрасная — его последняя женщина, для Пьера (каким его видит читатель) Элен — его первая женщина. Гете восхищен таким брачным союзом. От Фауста рождается у Елены прекрасный и гениальный ребенок — Эвфорион, “новый Икар”, несущий черты обоих своих родителей. Считается, что в образе Эвфориона Гете изобразил Байрона, его неукротимый дух, ведь сам о себе ребенок восклицает, обращаясь к отцу, матери и хору :
Я не зритель посторонний,
А участник битв земных.

У Пьера и Элен детей нет. И не случайно. Во всяком случае (что важно для нашего рассуждения), Елена Прекрасная счастлива и своим браком с Фаустом, и их общим ребенком. Она говорит:

Двух сливая воедино,
Длит любовь блаженства миг,
Но конечная вершина —
Единение троих.

Толстой не верит в любовь бессердечной распутницы, как вообще не верит, что красота совместима с добром и благом. И его Элен жестока с Пьером. От человека масштаба Фауста, мыслителя, озабоченного судьбами мира и своей судьбой в контексте мировой, то есть от Пьера Безухова, детей она не хочет. Пьер вспоминает: “Я спросил ее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от *меня* детей у нее не будет” (курсив Толстого. — *В. К.* ).

Впрочем, и путь по миру у него иной. Фауст стремится к деятельности всю свою жизнь. В самом начале трагедии он восклицает: “О деятельный гений бытия/Прообраз мой”. Первую фразу Евангелия от Иоанна он переводит не “в начале было Слово”, а “в начале было Дело” — стих гласит”. В лютеровском переводе тоже стоит — “Слово” (“Im Аnfang war das Wort”), то есть Фауст деятельнее, чем создатель протестантской этики труда. Безухов ищет внутреннего смысла мироздания. И находит его с помощью русского мужика, которому Толстой дает имя великого древнегреческого мудреца, которого очень ценил. Русский мужик *Платон* указывает герою этот смысл — в недеянии, в приятии мира как такового, “само сладится”. Вот одно из присловий Каратаева: “Положи, Боже, камушком, подними калачиком...” Вместе с героем и автор находит этот же смысл в бездеятельности Кутузова (весьма проблематичной, ибо Кутузов был масоном). Это, по Толстому, *бездействие действия*, которое преодолевает активничающую цивилизацию, как в гениальном и символическом образе травинки, пробившейся сквозь асфальт (начало “Воскресения”).

Платон Каратаев явился Пьеру в огне войны, как тот Дух из пламени, которого вызывает Фауст в начале трагедии. Он неразрывно связан с мирозданием: “...жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал”. Каратаев “все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят”. Но у него нет *самодеятельности*. Он так же безличен, как и вызванный Фаустом Дух, говорящий, что его суть “в извечной смене/Смертей и рождений”. Фауст не принимает этого Духа: “Кто б ни был ты, я, Фауст, не меньше значу”. Безухов принимает моральную установку Каратаева во время плена, эта установка дает возможность выжить, опустившись в безличность.

Как видим, каждое движение Пьера почти рифмуется с движением фаустовским, но противоположно ему по смыслу. Толстой рисует как бы Фауста, а по сути дела, строит конструкцию мира и героев, абсолютно, хотя и зеркально противоположную гетевской.

Пьер следом за Каратаевым теряет веру в значение собственного Я. Поминая Иисуса Христа, Платон Каратаев не осознает и не ощущает никакой ценности другого человека. “Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему... ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву”. Толстой жесток и честен. Он показывает , как Пьер трусливо делает вид, что не замечает расстреливаемого французами Каратаева. Впрочем, равнодушие к личности и есть наука русского Платона. Его оптимизм происходит от равнодушия к людям. Ирония Алданова бьет мимо цели: “Каратаев — не эллин и не иудей. Русский человек с головы до пят, он символизирует непонятный оптимизм народа, который, перенеся татарское иго и крепостное право, Батыев и Биронов, Аракчеевых и Салтычих, ухитрился создать кодекс практической мудрости, удивительно сочетающий Эпиктета с Панглосом. Как ни трогателен великолепный образ, созданный Толстым, но от него до вольтеровской сатиры только один шаг” 68 .

Что такое Платон Каратаев? Про Толстого говорили, что это барин, получивший веру от мужика. Как же он сам понимал мужика и христианство? Объясняя рассказ “Три смерти”, граф писал: “В обещания будущие христианства она (барыня. — *В. К.*) верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоенья (кроме ложнохристиянского) нету, — а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не християнин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил” (XVII-XVIII, 514). Очень точно: *по* *обычаю.* Таков же и Каратаев, его религия — природа, а не христианство.

А в силу этого его деятельность не сознательная и потому близка недеянию. Ибо отличие человеческой деятельности в *сознательном* созидании. Только пройдя испытание такой природной бездуховностью, русский Анти-Фауст находит одну из самых обаятельных женщин мировой литературы, русскую Гретхен, восторженно отдающуюся любви, желающую, как и Маргарита, строить свой дом, русскую вечную женственность — Наташу Ростову. И если Фауст не может на этой земле устроить свой мир с Гретхен, только на небе, куда — к истине — тянет героя вечная женственность, то Безухов принимает на себя счастье земной жизни, отказываясь от своих мистических исканий, уходя целиком в реальность — в желтое пятно на пеленке ребенка и в политическую деятельность. Фауст смог действовать в этом мире, только отказавшись от своей земной любви, от Маргариты. Именно земная любовь Наташи придает Пьеру силы.

Вечная женственность, Маргарита, губится немецким Фаустом, а русский мир преодолевает в своем естестве гетевскую дисгармонию. Таково резюме великого романа. Но не Пьер, а, подобно Фаусту, сам Толстой останавливает *счастливое мгновение* национального единения, “жизнь этого целого, особенного и единого народа” (VII, 223). Гете предупреждал об опасности желания — остановить мгновение. Каково же следствие такого поэтического отказа от истории в реальной истории? Об этом В. В. Розанов: “Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Чт у же осталось-то? ... Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60-ти, “и такой серьезный”, Новгородской губернии, выразился: “из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть”... И что ему царь сделал, этому “серьезному мужичку”? ... *Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и мир”* 69 (курсив мой. — *В. К.*). Насколько не случаен такой результат?

**ВЕЛИКИЙ ОТКАЗ**

Ортега-и-Гассет называл Гете патрицием культуры, наследником всех культурных ценностей мира: “Гете — патриций среди классиков. Этот человек жил на доходы от прошлого. Его творчество сродни простому распоряжению унаследованными богатствами” 70 . В контексте этого рассуждения Толстой выступает за “пролетаризацию культуры” (термин Ортеги-и-Гассета), отказываясь от культурного наследия всякого — от науки, искусства, церкви, армии и государства. В трактате “Что такое искусство?” к “рассудочным, выдуманным произведениям” он отнес произведения “греческих трагиков, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, Гете (почти всего подряд); из новых — Зола, Ибсена... в живописи — всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым “Страшным судом”; в музыке — всего Баха и всего Бетховена” (XV, 141). С точки зрения так называемого “человека из народа”, он отверг и Пушкина: “...надо только представить себе положение такого человека из народа, когда он... узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России — Пушкину... каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные” (XV, 187).

Такой отказ от ценностей культуры и цивилизации, желание свести потребности человека к минимуму, опора на жестокий сверхморализм приводили великого моралиста к самым потрясающим и, как ни парадоксально, антигуманным и антиморальным выводам. В “Крейцеровой сонате” (где, кстати, он обвиняет немца Бетховена в пробуждении неконтролируемых жестоких эмоций) Толстой призывает человечество перестать размножаться. Странное желание, чтобы после него и жизни не было, почти дьявольское. Чехов увидел в этой позиции *самодурство*: “Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, Боже мой, сколько тут личного!.. Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь” 71 .

Однако, скажут, Толстой землю пахал, сапоги тачал, призывал к ненасилию, то есть одна из его жизненных позиций — стать малым (не случайна ведь его нелюбовь к общепризнанным великим людям — Наполеону, Гете и т. п.). Но быть самым малым — тоже можно понять как дьявольский соблазн. В дневнике 1906 года есть такая странная запись: “Есть большая прелесть, соблазн в восхвалении, в пользовании славой, *но едва ли не б у льшая еще есть радость в самоунижении”* (XXII, 227). Но совместим ли соблазн быть малым с яростной проповедью, которую слушают миллионы? Зачем на бунт против преимуществ цивилизации призывать толпы? Не случайно испанский философ, говоря о восстании варварства, отказывался предать цивилизацию, говоря, что в отказе от своего высшего предназначения видно дьявольское: “Люцифер был бы не меньшим мятежником, если бы метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверно, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)” 72 .

Первым в ряду великих отказов графа, как мы видели, стоял отказ от истории, который закономерно привел к отказу от реальности. Россия пытается европеизироваться, а он всю силу своего гения бросает на то, чтобы показать невозможность развития и истории. Толстой накануне писания эпоса твердо заявлял: “Ребенка развивают всё дальше и дальше, и всё дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженного первообраза... *Идеал наш сзади, а не впереди*” (XV, 32; курсив Толстого. — *В. К.*). Эту установку на неисторию, на неразвитие можно проследить и в обращении графа к другим сферам человеческого бытия. Не он первый, скажем, выступал против техники, но любопытен аргумент. В 1863 году в статье “Прогресс и определение образования” он писал: “...несомненный факт всегдашнего противодействия народного духа к введению железных дорог существует во всей своей силе. Народ примиряется с ними только в той мере, в которой, испытав соблазн железных дорог, он сам делается участником этой эксплуатации. Настоящий народ, т. е. народ, прямо, непосредственно работающий и живущий плодотворно, народ преимущественно земледелец, 9 / 10 всего народа, без которых бы немыслим был никакой прогресс, всегда враждебно относился к ним... И *потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что, 1-е, народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что б у льшая доля правды на стороне народа;* 2-е и главное — потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять  всем  своим  человеческим  потребностям... Прогрессисты же не могли бы существовать без народа” (XVI, 85—87).

Отсюда следуют некие выводы: во-первых, очевиден страх перед большинством, которое может всех погнать (это и есть на самом деле реакция на возможный мужицкий бунт — не противостоять, как советовал Пушкин в “Капитанской дочке”, не просветлять, а слиться с массой, чтоб уцелеть в катастрофу), а второе — неприятие (или непонимание) того обстоятельства, что все великие человеческие открытия (духовные, научные, технические) создавались усилиями единиц и лишь потом принимались массой, но третье, и важнейшее, — забвение подвига Христа, принцип жизни которого был апелляция не к массе, а к истине, отсюда, кстати, у Толстого и непонимание истории, которая движется через трагическое деяние единиц.

Казалось бы, Достоевский тоже апеллировал к народу, однако отличие этой апелляции от толстовской принципиальное. Стоит привести его слова (для контраста) о любви к народу: “...судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем путь освещают!” 73 Иными словами, у Достоевского опора не на арифметическое большинство, которое он решительно и нетрусливо осуждает, а на всегдашних семь праведников, на единиц, которые и составляют смысл и суть жизни народа и являются двигателями жизни и истории. Но Толстой не может принять эту веру в единичных святых, как не мог принять он идею Гегеля о всемирно-исторических личностях как доверенных лицах мирового духа.

Надо еще заметить, что свою писательскую миссию на Земле Толстой считал выполненной, полагая себя первым среди мировой литературы: “...думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: “Ну хорошо, *ты будешь славнее* Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, *всех писателей в мире,* — ну и что ж!..” (XVI, 116). Гете, как он полагал, им тоже превзойден. В дневнике за 1906 год писал: “*30 сентября...* Читаю Гете и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического даровитого человека на то поколение, которое я застал, — в особенности бедного Тургенева с его восхищением перед “Фаустом” (совсем плохое произведение) и Шекспиром, — то же произведение Гете, — и, главное, с той особенной важностью, которая приписывалась разным статуям Лаокоонам, Аполлонам и разным стихам и драмам. Сколько я помучился, когда, полюбив Тургенева — желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался и никак не мог. Какой ужасный вред авторитеты, прославленные великие люди, да еще ложные!” (XXII, 226). Но на рубеже веков появились новые кумиры, которых образованное общество стало превозносить выше Гете.

Полемизируя с так называемым декадентским искусством, симптомом надвигающихся катаклизмов, Толстой находит нового идеолога-немца: “...последствие ложного отношения к искусству уже давно проявлялось в нашем обществе, но в последнее время с *своим пророком Ницше*, и последователями его... выражается с особенною наглостью” (XV, 188). Но парадоксально, почти как в случае с Гете, его позиция рифмуется с позицией оппонента. Сближение этих двух имен — Толстого и Ницше — делалось не раз, с целью противопоставить их. Но не случайно мыслитель начала века задал провокационный вопрос: “Сомнения ни у кого не было: граф Толстой и Нитше взаимно исключают друг друга. Более того, даже оба учителя считали один другого своей противоположностью... Но так ли это? Действительно ли эти два замечательных современных писателя столь чужды друг другу?” 74 Конечно же, отрицание всех устоев европейской цивилизации — истории, науки, искусства, государства, армии — приводило Толстого к тому же, к чему пришел Ницше: к попытке преодолеть историческое христианство.

Толстой полагал, что, только служа народу, можно быть истинно нравственным. Исходя из того, что личностное искусство народом не принимается, он отвергает его, предлагая систему нового — “подлинно народного” — искусства, идею, подхваченную Лениным и большевиками, о прямой пользе искусства, к которому не надо возрастать духовно, а которое само спускается к низшим слоям: “А отчего бы, казалось, людям искусства не служить народу? Ведь в каждой избе есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют; у многих есть гармония, и все рассказывают истории, стихи; и читают многие... Скажите живописцу, чтобы он... рисовал бы пятикопеечные картинки; он скажет, что это значит отказаться от искусства, как он понимает его. Скажите музыканту, чтобы он играл на гармонии и учил бы баб петь песни; скажите поэту, сочинителю, чтобы он бросил свои поэмы и романы и сочинял песенники, истории, сказки, понятные безграмотным людям; они скажут, что вы сумасшедший” (XVI, 346). Но ленинско-сталинский диктат именно такого служения требовал от художников из страха смертного и желания выжить. Не случайно Федор Степун замечал по этому поводу: “Под бичующими ударами толстовского морализма падают все культурные ценности. Если Ницше проповедовал переоценку всех ценностей, то Толстой проповедует их обесценивание. Гений художественного воплощения Толстой-теоретик был злым духом развоплощения” 75 .

В эмиграции, после опыта русской революции (зеркалом которой Ленин справедливо назвал Толстого), Бердяев так оценивал творчество “великого писателя земли русской”: “...презрение к великим людям и героям, претендующим по-своему направить жизнь, отсюда отвращение к Наполеону и любовь к Кутузову. Уже в “Войне и мире” Толстой целиком на стороне “природы” против “культуры”, на стороне стихийных процессов жизни, которые представляются ему божественными, против искусственной и насильственной организации жизни по разуму, сознанию и нормам цивилизации... Уже тут мы видим у Толстого “непротивление”. Не должно противиться сознательным усилием, цивилизаторской активностью непосредственной и простой правде природы. Народу, который есть “природа”, а не “культура”, присуща мудрость жизни. Идея “непротивления злу насилием” взята Толстым не из Евангелия, она есть вывод из его веры в благостность, в божественность “природы”, которая искажена насилием цивилизации, в правду первичной стихии жизни. Об этом свидетельствует все художественное творчество Толстого” 76 .

Природа много значила для Толстого. И больше всего на свете возлюбя жизнь, он безумно — как ни один из писателей — боялся смерти. Почти в каждом его произведении есть изображение смерти — и ужас, что напрасно он так работал, старался, делался великим, если все равно умирать. У Толстого был поразительный страх смерти, словно он боялся очнуться в аду, страх перед потусторонним бытием, которое он не желает даже вообразить. А христианство, заботясь о жизни человека на Земле, тем не менее жизнь вечную обещает не здесь, а в потустороннем мире. Раз жизнь кончается смертью даже великих, она, по логике Толстого, есть зло. Только три человека это поняли, как он считает: “*...мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость*, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем” (XVI, 143). Толстому страшно именно потому, что он не принял истории, которая дает вечную жизнь на Земле. Но закономерно, что, отвергнув земную историю, он отверг и Священную историю.

В поисках смысла жизни он обратился к христианству: “Я смотрю на *христианство* не как на исключительное божественное откровение, не как на историческое явление, я смотрю на *христианство*, как на учение, дающее смысл жизни” 77 (курсив Толстого. — *В. К.*). Но он не мог принять его просто, он подвергает переоценке и пересмотру евангельское учение, как оно сложилось исторически. Это ясно сформулировано им в “Исповеди” (1882): “И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся... Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина ? И ложь и истина переданы тем, что называется церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в *так называемом священном предании и писании*” (XVI, 162). Заметим, что стилистика при этом евангельская, как в “Заратустре” Ницше. Сам стиль говорит, что Толстой вполне серьезно считает свой текст новым Евангелием, но, отказавшись от исторического христианства, он под видом христианства дал нечто иное, ибо истинную веру он нашел не в церкви, а у русского мужика, еще связанного с языческой религией Земли.

У Бунина в “Освобождении Толстого” есть одно очень важное соображение. Рассуждая о судьбе Толстого, он вспоминает знаменитое место в Евангелии о дьяволовом искушении Христа славой мира сего. Христос отказывается. Но в связи с этим невольно напрашивается сравнение двух смертей — Христа и Толстого. Первый умер в безвестности на кресте, сопровождаемый горсткой напуганных учеников. Второй умирает в сиянии славы, весь мир следит за каждым его вздохом, “толстовство” исповедуется тысячами людей, о нем пишут ученые как о грандиозном религиозном явлении. И Бунин задается вопросом: результат смерти Христа нам известен. А каков будет результат учения Толстого?

В статье о Ницше как об одном из антихристианских учителей В. С. Соловьев замечает, что русскими людьми владеют “по крайней мере три очередные или, если угодно, модные идеи — экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм “сверхчеловека”. Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на текущее и насущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее” 78 . Именно против той, что охватывает отчасти и завтрашний день, он выступил в своем предсмертном и гениальном сочинении “Три разговора”, прямо обратив ее против “толстовства” и создания Толстым того, что философ назвал “мнимым евангелием” 79 . Создав образ Антихриста, он отчасти объединил в его облике черты и идеи Ницше и Толстого.

В чем же можно увидеть мнимость *толстовского евангелия* ? Просто-напросто Толстой убрал из Евангелия все, что каким-то образом говорило о божественном происхождении Христа. Если он не Бог, с ним возможно соперничать и опираться на него, имея право исправлять его учение. “Для меня совершенно было все равно: Бог или не Бог Иисус Христос, и то, от кого исшел святой дух... 1800 лет тому назад явился какой-то нищий и что-то поговорил. Его высекли и повесили, и все про него забыли, как были забыты миллионы таких же случаев, и лет 200 мир ничего не слыхал про него. Но оказывается, что кто-то запомнил то, что он говорил, рассказал другому, третьему. Дальше больше, и вот миллиарды людей умных и глупых, ученых и безграмотных не могут отделаться от мысли, что *этот, только этот* человек был Бог. Как объяснить это удивительное явление? Церковники говорят, что это произошло оттого, что Иисус точно был Бог. И тогда все понятно. Но если он не был Бог, то как объяснить, что *именно этот простой человек* признан всеми Богом?” 80

Ведь если Христос не Бог, то тогда и другому доступно такое же — создать истинную религию. И дело не в Его божественном происхождении, “а только в том, что проповедывал этот человек такое особенное, что заставило людей выделить его из всех других и признать его Богом тогда и теперь” 81 . Откуда же взялось представление о божественности Христа? По мысли Толстого, люди часто объясняют простые вещи волшебством, с рассуждения об этом обстоятельстве он начинает свое изложение Евангелия, дающее ему право на поправку идей Христа: *“Иисус был сын неизвестного отца. Не зная отца своего, он в детстве своем называл отцом своим Бога”.* И снова — в конце абзаца — повтор: *“Не зная своего плотского отца, Иисус отцом своим признавал Бога”* 82 (курсив Толстого. — *В. К.* ).

Говорят, что Толстого нельзя даже отдаленно помыслить как Антихриста, ведь это был абсолютно гениальный писатель, призывавший к добру и много сделавший реальных добрых дел. На это можно ответить, что Антихрист и должен быть гением, иначе ему не прельстить все человечество. А вот и соловьевский портрет Антихриста: “Был в это время... один замечательный человек, — многие называли его сверхчеловеком... Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель... ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он *верил*, но *любил* он только одного себя... Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что столь обильно снабженный дарами Божиими, он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был Христос... Он признавал Его мессианское значение и достоинство, но он искренно видел в нем лишь своего величайшего предшественника, — нравственный подвиг Христа и Его абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием ума” 83 .

Каков все же окончательный вывод Соловьева? Обвинение или пока еще предупреждение графа об опасности его пути? Скорее второе. В “Трех разговорах” одно из действующих лиц, *Князь*, персонифицирует идеологию “толстовства”. И любопытствующая *Дама*, непременный персонаж прозы конца века, возбужденно спрашивает: “Как, вы думаете, что наш князь — антихрист?” На что получает резонный ответ: “Ну, не лично, не он лично: далеко кулику до Петрова дня! А все-таки на той линии” 84 . Очевидно, Соловьев видел в Толстом не Антихриста, а мыслителя, пролагающего пути Антихристу. И дело не в том, что граф выступил против Церкви, тем более нельзя назвать его атеистом. Если Ницше выступал с твердым неприятием христианства и всех тех духовных ценностей европейской культуры, которые были им порождены, то Толстой пытался собой подменить Христа. Уже в статье 1912 года Бердяев отметил эту особенность религиозных усилий великого писателя: “ Л. Толстой хочет исполнить волю Отца не через Сына, он не знает Сына и не нуждается в Сыне. Религиозная атмосфера богосыновства, Сыновней Ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца: *он сам, сам исполнит волю Отца, сам может* ” 85 (курсив мой. — *В. К.* ).

Но Христос не Гете, и пытаться его превзойти — значит шутить опасную шутку с историей и мировым развитием. И “великий отказ” от искусства, науки, церкви, государства свидетельствовал как о социальных борениях писателя, выражении крестьянских взглядов (“зеркало русской революции”), так и о более существенном — признании ошибкой почти двухтысячелетнее развитие христианской культуры. Отказ от европеизма, европейских ценностей приводит в конечном счете к отказу от христианства. Ибо основа европейской культуры со всеми ее противоречиями и есть противоречивое христианство. Если атеист и вольнодумец Пушкин, все глубже усваивая европейскую культуру, пришел к христианству, то путь Толстого прямо противоположный.

Синод отлучил Толстого от церкви, но определение было очень мягким и оставляло надежду на возвращение, в случае если Толстой перестанет проклинать церковь и найдет с ней пути примирения и компромисса: “...церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею” 86 . Впрочем, церковь делала все это в ответ на действия Толстого. Скажем, Алданов пишет с ужасом, что за четыре месяца до смерти Толстой отверг  Евангелие.  Приведем  запись  секретаря  Толстого В. Ф. Булгакова от 22 июня 1910 года, на которой основывается заключение Алданова: “Лев Николаевич высказался против обязательности евангельских текстов, *которые извращены.*

— Не хочется мне этого говорить, но уж я скажу: как раньше я любил Евангелие, так теперь я его разлюбил.

Потом прочли одно прекрасное место из Евангелия, *по изложению Льва Николаевича* (курсив мой. — *В. К.* ).

— Я опять полюбил Евангелие, — произнес он улыбаясь” 87 .

Разумеется, можно испугаться. Страх Алданова понятен. Граф любил *только свое* Евангелие, отказавшись от Христова. Извратили-де евангелисты, а только он подлинно проник в слово Христа, ибо сам то же, что и Христос. Но самое главное, как несложно увидеть, что это не решение последних лет, а простое формулирование и развитие ранее сказанного. Отказ от науки и культуры мог вести только к отказу от защиты человека, от настоящей любви к нему. Самый, пожалуй, нормальный  русский  писатель  (нормальный  гуманист)  Чехов 27 марта 1894 года написал Суворину: “...толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в “за и против”, а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя” 88 . Парафраз евангельской фразы, означающий, что псевдохристос вышел из него. Теперь надо ждать настоящего: “Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: “благословен Грядый во имя Господне!” (Мф. 23, 38—39).

Но революционно настроенные поздние современники Толстого приняли и поддержали это его желание превзойти Бога. “А с неба смотрела какая-то дрянь/величественно, как Лев Толстой” — так резюмировал Маяковский окончание тяжбы Толстого с Богом в сознании соотечественников писателя. Отсюда недалек шаг и к большевистскому самозванничеству, расстреливавшему массово “попов” казенной церкви 89 , отвергшему “буржуазную” культуру и историю и объявившему Октябрьскую революцию высшей и последней вехой в развитии человечества, после которой люди вырываются из принудительности исторического процесса, классовых противоречий и, отбросив веру в потустороннее воздаяние, строят царство счастья на Земле. Думаю, Толстой ужаснулся бы, узнав, как отозвалось в судьбе России его слово.

**СМЕРТЬ РУССКОГО ФАУСТА**

Любопытно, как высмеянные когда-то Толстым сюжеты мировой литературы в конце жизни сказались в его собственной судьбе. Словно отвергнутое им искусство мстило за себя. Начнем с предсмертного жеста, так напоминающего жест осмеянного им шекспировского короля Лира. Отдав свое состояние Черткову, потому что тот вслух и громко и не раз заявлял о любви и преданности учению Толстого, затем отрекшись от своей семьи, он вынужденно бежал ночью прочь, неизвестно куда (однако, несмотря на проклятия медицине, со своим личным врачом). О смерти не думал, считал, что Бог скорее всего дарует ему бессмертие, слишком он гениален, потому и уходя думал лишь начать новый период своей жизни. Но любопытно, что в процессе своего бега стучится в монастырь, но не решается, слишком много проклятий он послал монастырям, и по проклятой им железной дороге, задавившей Анну Каренину, едет куда-то и умирает на железнодорожной станции, как и Лир, понимая перед смертью, что не он один на свете со своими прихотями, что есть и другие люди. Перед смертью он вдруг совершил открытие, понял, как и шекспировский король, что не на нем одном сосредоточился мир, и произнес: “Только советую вам помнить одно: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, — а вы см у трите на одного Льва” 90 .

Но еще трагичнее отозвался в его жизни последних лет гетевский “Фауст”, который он перечитывал в 1906 году и решил, что это очень плохое произведение. В конце жизни взаимоотношения троих — Толстого, Софьи Андреевны и Черткова — удивительно начинают напоминать отношения Фауста, Маргариты и Мефистофеля. Пьер не получил черта в сопровождающие. Но его создатель — истинный русский Фауст — Лев Толстой получил в спутники к концу жизни *Черткова.* С. А. боялась и ненавидела этого истового последователя “толстовства”, чувствуя, что он убивает ее домашнюю веру и уводит от нее ее “Левочку” (вспомним, как любил Толстой свою Соню, как она ему помогала). Но Чертков возвещал неизбежность торжества толстовского учения, когда слава Учителя человечества заменит графу верную жену, а союз учеников заменит сковывающий великого человека (который обращается ко всем людям) семейный союз, освященный церковью. С. А. разрывает в клочья портрет Черткова и топит клочки в клозете, приглашает в дом священника, чтобы отслужить молебен для изгнания духа Черткова, она следит за Чертковым, а тот сбивает с пути Александру Львовну, переписывает на нее, а практически на себя, завещание Толстого и пр. Но главное — женское чутье. Приведу только одну выдержку из дневника С. А. от 12 октября 1910 года, то есть накануне ухода: “Понемногу узнаю еще разные гадости, которые сделал Чертков. Он уговорил Льва Н-а сделать распоряжение, чтоб после смерти его права авторские не оставались детям, а поступили бы на общую пользу, как последние произведения Л. Н. И когда Лев. Ник. хотел сообщить это семье, господин Чертков *огорчился* и не позволил Л. Н. обращаться к жене и детям. Мерзавец и деспот! Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки. Но если я буду жива, я отмщу ему так, как он этого себе и представить не может. Отнял у меня сердце и любовь мужа; отнял у детей и внуков изо рта кусок хлеба, а у своего сына в английском банке миллион шальных денег, не то, что у Л-а Н-а им заработанных вместе со мной, — я во многом ему помогала. Сегодня я сказала Льву Никол., что я знаю о его распоряжении. Он имел жалкий и виноватый вид и все время отмалчивался. Я говорила, что дело это недоброе, что он готовит зло и раздор, что дети без борьбы не уступят своих прав. И мне больно, что над могилой любимого человека поднимется столько зла, упреков, судбищ и всего тяжелого! Да, *злой дух орудует руками этого Черткова — недаром и фамилия его от черта...* ” 91

Невольно вспомнишь Мефистофеля и отношение к нему Маргариты:

М а р г а р и т а

В чем ваше кумовство?
Как можешь ты терпеть его?
Никто еще во мне так живо
Не возбуждал вражды брезгливой,
Как твой противный компаньон.

Ф а у с т
О милочка, не страшен он!

М а р г а р и т а

При нем я разом холодею,
Я с прочими людьми в ладу,
Но так же, как душою всею
Я твоего прихода жду,
Так я чураюсь лиходея.
Прости Господь мои слова

,
Когда пред ним я не права...

Ф а у с т
О, чуткость ангельских догадок!

М а р г а р и т а

Он мне непобедимо гадок.
В соседстве этого шута
Нейдет молитва на уста,
И даже кажется, мой милый,
Что и тебя я разлюбила,
Такая в сердце пустота!

Не правда ли, похоже? Конечно, Чертков искал и практическую выгоду, об этом трезвый Сергей Львович вспоминает: “В. Г. Чертков... знал, что если не будет формального завещания, то его роль после смерти Толстого будет иная, чем при его жизни, что, может быть, он будет даже устранен от дела, составлявшего главный интерес его жизни. И потому ему нужно было формальное завещание, передающее в его руки редактирование и издание всех произведений Л. Толстого... Последствием этого было то, что его поведение в 1910 году крайне обострило отношения между моими родителями и было одной из причин мучительных переживаний отца в последний год его жизни. Это признает и В. Г. Чертков” 92 .

Все так, но не менее важна и символическая сторона происходившего, ведь недаром Толстой мыслил себя в ряду мировых фигур — Соломона, Христа, Гете, Наполеона и т. д. И становится удивительным, как это великий писатель *не расслышал так явственно звучавший смысл фамилии своего самого преданного последователя*, что, как мы видели, было абсолютно внятно его бедной жене. Литературные образы не любимых им писателей словно преследовали Толстого. Напомню художника Черткова 93 из гоголевского “Портрета”, продавшего душу дьяволу и скупавшему картины своих талантливых современников. В те роковые дни С. А. писала, жалобно пытаясь самооправдаться: “Не могу считать себя виноватой, потому что всем своим существом чувствую, что я, отдаляя Льва Николаевича от Черткова, спасаю его именно от врага — дьявола. Молясь, я взываю к Богу, чтоб в дом наш вошло опять Царство Божие” 94 .

А само подписание завещания, которое передавало издание его сочинений в руки Черткова, удивительно напоминает подпись  дьявольского  договора,  тайком,  в лесу,  на пне. 22 июля 1910 года “Львом Николаевичем было подписано в лесу, у деревни Грумонт, тайное завещание о передаче всех его сочинений в общую собственность. Формальной исполнительницей его воли назначалась его младшая дочь, а фактическим распорядителем — В. Г. Чертков. (*Последнее назначение оговорено было в особой, составленной самим Чертковым* и тоже подписанной Л. Н. Толстым “сопроводительной бумаге” к завещанию)” 95 (курсив мой. — *В. К.*). Это завещание послужило причиной очень сложных внутрисемейных отношений, что и привело в конечном счете к знаменитому уходу писателя.

Толстого мучило (это видно из дневниковых записей и писем), что в своем завещании он обращался к помощи того самого государства, которое обличал и отрицал. Но он на себя уже смотрел как бы со стороны, как на существо, чье слово должно дойти *до каждого*. Спустя три дня после подписания завещания в “Дневнике для одного себя” он писал: “Нельзя же лишить *миллионы людей,* может быть, нужного им для души” (XXII, 414). Словно замстило разум, словно не отдавал себе отчета, что книги-то его не будут раздаваться людям бесплатно. С этим связан и его отказ от семьи. “Мысль семейная” в его творчестве имела несколько этапов: Наташа Ростова, пеленка с желтым пятном, семейное счастье в “Войне и мире” как награда за все испытания; наказанная за измену Анна в “Анне Карениной” (фамилия говорящая, тогда еще граф чувствовал смысловое звучание, — *Каренина*, то есть та, на которую обрушится *кара*); в “Крейцеровой сонате” уже ненависть к идее семьи, оправдывается убийство мужем жены. В проповеднических сочинениях тоже идейное оправдание своего отказа от семьи: “Любить врагов, любить немилых, любить чужих можно без осторожности, вполне отдаваясь этой любви, но нельзя так любить семейных, потому что такая любовь ведет к ослеплению и оправданию грехов” 96 .

Сам Толстой так не жил. Бессемейно, бессребрено, воистину следуя Христу, жил Вл. Соловьев, который имел моральное право упрекать Толстого в лицемерии.

Но этот последний отказ его добил. Отказавшись от семьи, жить в ней, пользоваться услугами С. А. стало мучительно тяжело. Отсюда его жалкость и желание побега. Вот что он пишет за месяц до ухода: “*24 сентября*... после обеда *начались упреки*, что я кричал на нее, что мне бы надо пожалеть ее. Я молчал. Она ушла к себе, и теперь 11-й час, она не выходит, и мне тяжело. *От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части.* Иногда думается: *уйти ото всех*” (XXII, 420). В конце концов уход — это и есть отказ от всякого деяния.

Современники, правда, восприняли этот уход как стряхивание графом с себя условностей цивилизации, как шаг праведника, наконец-то осуществившего свои идеалы, которые он так настойчиво проповедовал. Но это был иного рода уход. Он бежал, боясь самого себя, он поехал в Шамордино (монастырь, где монахиней жила его сестра), в Оптину пустынь, но нигде не мог остановиться: его собственные отказы гнали его все дальше. Остановили его в этом странном и нелепом беге болезнь и смерть. Так потом в гражданскую войну будут бежать миллионы русских людей 97 , не зная куда и зачем, спасаясь от беса, всеми поначалу поддержанной революции для свержения опостылевшего государства. Умер Толстой 7 *ноября* (вспомним мистическую игру Пьера с цифрами).

Прошло несколько лет — и вспыхнула первая мировая война. Стало не до идей великого графа. С. А. записывает в “Ежедневнике” 1915 года: “*28 августа.* День рождения Льва Николаевича. С утра пасмурно, дождь. Потом прояснило. Ходила на могилу, молилась о душах Льва Ник. и родивших его отца и матери. Странно, как скоро забыт Толстой! Сегодня здесь не было *никого*: ни чужих, ни близких” 98 . Все происходило вопреки его призывам: насилие стало нормой российской жизни. А потом Октябрьская революция, словно впитавшая всю ненависть Толстого к европейской цивилизации, в лице большевиков вернулась к Толстому. Но, приняв его ненависть к старой России, Европе, христианству, большевики, разумеется, не приняли его идеи ненасильственности, поскольку отказ от прежних ценностей мог означать только их разрушение. Были разрушены государство, церковь, отменена частная собственность, разрушены “буржуазные” фабрики и заводы, почти исчезла медицина. Но новое устроение общества (государства, партии как псевдоцеркви, промышленности и т. п.) потребовало еще более чудовищного насилия, чем то, против которого протестовал Толстой. И граф был превращен *в идола*, как и иные *предшественники*, вроде Маркса и Энгельса. Запретив к массовому распространению его религиозно-нравственные сочинения, новая власть взяла под охрану Ясную Поляну, издала (хотя и мизерным тиражом) полное Юбилейное 90-томное собрание его текстов. “Кричащие противоречия” Толстого, о которых писал Ленин, сказались и в отношениях большевиков к великому писателю.

Толстой и в самом деле выразил метания России, в том числе ее отказ от христианства. Возможно ли принятие Россией христианских ценностей, несмотря на казенность православной церкви, с которой спорил не один Толстой? Возможна ли ее реформация — без отказа от ее бытия? Мучительные поиски Толстого — это поиски России. Как и ее великий писатель, она сошла с путей благодати. Но если прощена Германия, выступившая против космополитизма и толерантности Гете, то, быть может, нечто похожее произойдет и с Россией. Разумеется, путь ее будет труднее — от непривычки к покаянию, которую явил граф. Но не случайно смерть Толстого крупнейшие русские мыслители сравнили со смертью Фауста (Вяч. Иванов, Ф. Степун и др.). А это значит, что есть шанс на примирение с небом. Толстой боролся с миром и с самим собой, а как поют ангелы в “Фаусте”, унося в небо “бессмертную сущность Фауста”:

Спасен высокий дух от зла
Произволеньем Божьим:
Чья жизнь в стремлениях прошла,
Того спасти мы можем.
А за кого любви самой
Ходатайство не стынет,
Тот будет ангелов семьей
Радушно в небе принят.

Степун писал: “В этой борьбе против схороненной в его душе благодатной тайны и заключается трагедия Толстого. Умирая, он все время повторял: “Искать, все время искать”. Хочется верить, что, отходя в другой мир, он слышал тот же хор ангелов, что и Фауст...” 99 И, заметим, не последнюю роль в спасении Фауста сыграла его Гретхен (“вечная женственность”, что, по мысли Гете, ведет к “истине”), здесь явная перекличка, даже парафраз “Божественной комедии”, где духоводительницей поэта к высотам Рая оказывается Беатриче. Ведь когда у Данте “изнемог высокий духа взлет”, последнее стремление ввысь ему дала “любовь, что движет солнце и светила”. Но такая же любовь, такая же Гретхен была и у Толстого. Чрезвычайно трогательно читать ее записи, вплоть до ее смерти — до 1919 года. Она занята изданием писем и записок мужа, бесконечными воспоминаниями о счастливых минутах пятидесятилетней совместной жизни. В последний год она запишет: “Рожденье Льва Никол-ча. Сделала венок из белых и розовых флоксов и желтых рутбеков; прибавила кое-какие полевые цветы. Пошла на могилу Льва Ник-ча и долго там была, потом странствовала по лесу и даже заблудилась” 100 . Конечно, *идею Гретхен* можно счесть “лирической философией”. Но, переходя на метафизический уровень рассуждения, мы должны учитывать и высший смысл мольбы любящей женщины.

Разумеется, художественное величие Толстого несомненно. Но, как и его проповедь, искусство великого писателя требует, слава Богу, не казенно-патриотического, то есть дьявольского, восхваления, а проблемного анализа. Во всяком случае, духовный опыт Толстого, его необыкновенный религиозный и нравственно-философский эксперимент должен стать предметом самой напряженной рефлексии. Ибо, думая о Толстом и его судьбе, мы думаем о своей судьбе и о судьбе неотделимой от нас России.

\* Полностью статья будет опубликована в немецком издании “West-цstliche Spiegelungen”, т. 4. В серии: “Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 1870—1917”. Инициатор проекта — Лев Копелев. Издатель тома — Дагмар Херрманн.

1 “Переписка А. П. Чехова”, в 2-х томах, т. 1, М., 1984, с. 261.

2 См.: А. С у в о р и н, Дневник, М., 1992, с. 316.

3 Л. Н. Т о л с т о й, Собр. соч. в 22-х томах, т. XIX-ХХ, М., 1984, с. 502. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. Курсив в цитатах из Толстого, за исключением особо оговоренных случаев, мой. — *В. К.*

4 С. Л. Ф р а н к, Лев Толстой и русская интеллигенция. — С. Л. Ф р а н к, Русское мировоззрение, СПб., 1996, с. 440.

5 См.: “Родина”, 1998, № 3, с. 72.

6 С. Л. Ф р а н к, Толстой и большевизм. — С. Л. Ф р а н к, Русское мировоззрение, с. 457. Нигилистический пафос Толстого как предшественника сил, совершивших Октябрьскую революцию, был внятен и наиболее зорким зарубежным мыслителям: “...толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает Толстого отцом большевизма” (Освальд Ш п е н г л е р, Закат Европы, т. 2, М., 1998, с. 200). Правда, причины этой ненависти Шпенглер не видит, полагая ее в том, что Толстой был горожанин. Субстанция, родившая Толстого, однако более мощная и почвенная.

7 Андрей Б е л ы й, Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. — Андрей Б е л ы й, Критика. Эстетика. Теория символизма, в 2-х томах, т. I, М., 1994, с. 413.

8 Федор С т е п у н, Мысли о России. — “Современные записки”, XV, 1923, с. 292.

9 Томас М а н н, Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма. — Томас М а н н, Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, М., 1960, с. 598.

10 Томас М а н н, Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма, с. 492.

11 А. С. П у ш к и н, Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, М.—Л., 1951, с. 518.

12 И. Б у н и н, Освобождение Толстого. — Янко Л а в р и н, Лев Толстой, [Челябинск, 1999], с. 436.

13 А. С. П у ш к и н, Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 515.

14 А. В. Д р у ж и н и н, Литературная критика, М., 1983, с. 152—153.

15 Н. М. К а р а м з и н, Письма русского путешественника, Л., 1984, с. 73.

16 См. об этом мою статью: Владимир К а н т о р, Иван Тургенев: Россия сквозь “магический кристалл” Германии. — “Вопросы литературы”, 1996, № 1.

17 Н. В. Ш е л г у н о в, Литературная критика, Л., 1974, с. 65, 66, 67.

18 К. Л е о н т ь е в, Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого. Критический этюд. — “Вопросы литературы”, 1989, № 1, с. 212.

19 “Л. Н. Толстой о литературе. Статьи. Письма. Дневники”, М., 1955, с. 43.

20 Напомню, забегая вперед, слова князя Андрея, что он бы немца от постели родного отца прогнал бы. Рифмовка тем и проблем внутри произведений Толстого постоянная и удивительная, в том смысле, что он каждый раз как бы заново переосмысляет весь свой опыт, строя новую идеологическую модель.

21 А. М. С к а б и ч е в с к и й, Граф Лев Николаевич Толстой — как художник и мыслитель. — “Сочинения А. Скабичевского. Критические этюды, публицистические очерки, литературные характеристики”, в 2-х томах, т. 1, СПб., 1895, стлб. 642—643.

22 В 1860 году он писал Е. П. Ковалевскому: “Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и *необразованных или, вернее, диких* и грамотных... Впрочем, ежели бы в Англии приходился 1 дикий на сто, и тогда, наверно, об-щественное зло происходило бы только от этого процента *диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большей частью насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества* ” (XVII-XVIII, 545).

23 А. И. Г е р ц е н, Русские немцы и немецкие русские. — А. И. Г е р ц е н, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV, М., 1958, с. 148, 149.

24 А. И. Г е р ц е н, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, с. 135.

25 См. мою статью: В. К а н т о р, Срубленное древо жизни. — “Октябрь”, 2000, № 2.

26 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й, Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. Х, М., 1951, с. 505—506.

27 А. И. Г е р ц е н, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, с. 249.

28 G r ь b e l n — р азмышлять, раздумывать *(нем.)*. Слово это любил Герцен, как характерное для русских, прошедших школу немецкой философии. Так что, похоже, Толстой избавлялся, как ему казалось, от рожденной немецкой философией рефлексии.

29 М. М. Б а х т и н, Эпос и роман. — М. М. Б а х т и н, Литературно-критические статьи, М., 1986, с. 401.

30 Стоит привести наблюдение современного писателя: “Как упиваются автор и персонажи своим дворянством! Толстому дорого все, что есть дворянство, и этим он заражает читателя. Герои же ни на минуту не забывают о своем происхождении. И почему они непременно в каждой фразе прибавляют в обращениях друг к другу титул, хоть сто раз кряду? Достоевский точно подметил, что Толстой — это писатель дворянства. Ведь, скажем, в прозе Пушкина отсутствует эта дворянская спесь, словно масляная пленка по воде покрывающая все содержание” (Сергей Б о р о в и к о в, В русском жанре. Над страницами “Войны и мира”. — “Новый мир”, 1999, № 9, с. 178).

31 См. его письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 года (XIX-XX, 229). Эта поэма Гете была, видимо, популярна среди русских литераторов. В тургеневской повести “Ася” (1857), которую Толстой хорошо знал, рассказчик читает вслух “Германа и Доротею”.

32 Н. Я. Д а н и л е в с к и й, Россия и Европа, М., 1991, с. 52—53.

33 Из дневника С. А. Толстой за 1870 год о предпочтениях Толстого: “восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз” (С. А. Т о л с т а я, Дневники, в 2-х томах, т. 1, М., 1978, с. 495).

34 Б. М. Э й х е н б а у м, Пушкин и Толстой. — Б. Э й х е н-б а у м, О прозе. О поэзии. Сборник статей, Л., 1986, с. 79.

35 Е. А. М а й м и н, Лев Толстой, М., 1984, с. 73.

36 Томас М а н н, Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма, с. 559.

37 Была некогда Троя, были мы троянцы *(лат.).*

38 А. С. П у ш к и н, Путешествие из Москвы в Петербург. — А. С. П у ш к и н, Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 272.

39 Первый раз это наблюдение о “Войне и мире” как троянском эпосе я услышал от отца (К. М. Кантора), когда мне было лет семнадцать.

40 А. В. Д р у ж и н и н, Литературная критика, с. 101.

41 А. И. Г е р ц е н, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, с. 137.

42 И. П. Э к к е р м а н, Разговоры с Гете в последние годы его жизни, Ереван, 1988, с. 169.

43 К. Н. Л е о н т ь е в, Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого, с. 233—234.

44 Е. В. Т а р л е, Наполеон, Минск, 1998, с. 253.

45 Т а м ж е, с. 261.

46 Кстати, такое отношение к немцам как к бездарным воякам, укоренившееся со времени “Войны и мира”, принесло России немало бед и в первую и во вторую мировую войну.

47 Перенести в пространство *(нем.).*

48 Сергей Б о р о в и к о в, В русском жанре. Над страницами “Войны и мира”, с. 180.

49 Йозеф Г ё р р е с, Сполохи. — “Эстетика немецких романтиков”, М., 1987, с. 229.

50 Надо сказать, что переживший катастрофу Октябрьской революции, когда была свергнута немецкая династия Романовых, В. Розанов по-новому оценил русский патриотизм немцев: “Ей-ей, под немцами нам будет лучше. Немцы наведут у нас порядок, — “как в Риге”. Устроят полицию, департаменты. Согласимся, что ведь это было у нас всегда скверно и глупо. Министерию заведут. Не будут брать взяток, — наконец-то... и о чем мы выли, начиная с Сумарокова, и довыли до самого Щедрина... “Бо наряда — нет”... Да, еще: наконец-то, наконец немцы научат нас русскому патриотизму, как делали их превосходные Вигель и Даль. Но таких было только двое и что же могли они ? ” (В. В. Р о з а н о в, Апокалипсис нашего времени, М., 1990, с. 28).

51-52 Марк А л д а н о в, О Толстом. — Марк А л д а н о в, Ульмская ночь, М., 1996, с. 476.

53 Г е г е л ь, Философия истории. — Г е г е л ь, Сочинения, т. VIII, М.—Л., 1935, с. 18, 19.

54 Лев Ш е с т о в, Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше. — “Вопросы философии”, 1990, № 7, с . 64—65.

55 Сергей Б о р о в и к о в, В русском жанре. Над страницами “Войны и мира”, с. 178—179.

56 Интересно, что граф Растопчин буквально грозит Пьеру, предупреждая его против третьесословных умствований: “Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества”. Впрочем, война и плен, прикосновение к народной сущности жизни (Каратаев) отвратили Пьера от масонства и связей с третьим сословием.

57 К. Н. Л е о н т ь е в, Анализ, стиль и веяние, с. 237.

58 Из всех пороков самый ужасный — неблагодарность *(нем.).*

59 Ср., например, следующее утверждение: “Пушкина больше, чем кого-нибудь другого, можно назвать предшественником Толстого. Учителем и предшественником во многих отношениях — в частности, и в его воззрениях на историю” (Е. А. М а й м и н, Лев Толстой, с. 74).

60 См. об этом мою статью: Владимир К а н т о р, Пушкин: русское дворянство как третье сословие. — “Открытая политика”, 1999, № 5-6.

61 Марк А л д а н о в, Загадка Толстого. — Марк А л д а н о в, Ульмская ночь, с. 2 6.

62 Для возможности сравнения надо привести слова Канта: “Две вещи наполняют душу всегда новым и тем более сильным удивлением и  благоговением,  чем  чаще  и  продолжительнее  мы  размышляем  о них, — это *звездное небо надо мной и моральный закон во мне.* И то и другое мне нет надобности только предполагать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь с мирами над мирами и системами систем, и сверх того в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности. Второй начинается с моего невидимого Я, с моей личности, и представляет меня в мире, который поистине бесконечен, но который доступен только рассудку и с которым (а через него и со всеми видимыми мирами) я познаю себя не только в случайной связи, как там, но во всеобщей и необходимой связи” (Иммануил К а н т, Сочинения, т. III, М., 1997, с. 729).

63 Чтобы современному читателю понятнее было, о чем идет речь, сошлюсь на Тарле. В 1813 году, писал он, “национально-освободительное движение все больше и больше охватывало Германию. Появились добровольческие партизанские отряды, организованные Тугендбундом и другими патриотическими ассоциациями” (Е. В. Т а р л е, Наполеон, с. 313). Стало быть, и партизаны в Германии были, и сражаться умели, и как раз независимому мужеству и патриотизму Тугендбунда Пьер собирался подражать.

64 В начале романа, как помним, именно это утверждение автора предварила Анна Павловна Шерер.

65 Тогда я ваш! *(франц.).*

66 Марк А л д а н о в, Загадка Толстого, с. 39.

67 “Это  русский  Фауст,  князь  Андрей  Болконский” (Марк А л-д а н о в, Загадка Толстого, с. 135).

68 Марк А л д а н о в, Загадка Толстого, с. 94.

69 В. В. Р о з а н о в, Апокалипсис нашего времени, с. 5.

70 Хосе О р т е г а-и-Г а с с е т, В поисках Гете. — Хосе О р- т е г а-и-Г а с с е т, Эстетика. Философия культуры, М., 1991, с. 436.

71 “Переписка А. П. Чехова”, в 2-х томах, т. 1, с. 231—232.

72 Хосе О р т е г а-и-Г а с с е т, Восстание масс. — Хосе О р- т е г а-и-Г а с с е т, Эстетика..., с. 342.

73 Ф. М. Д о с т о е в с к и й, Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 22, Л., 1981, с. 43.

74 Лев Ш е с т о в, Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше, с. 70.

75 Ф. С т е п у н, Религиозная трагедия Льва Толстого. — Ф. С т е- п у н, Встречи, М., 1998, с. 36.

76 Н. А. Б е р д я е в, Л. Толстой. — “Н. А. Бердяев о русской философии”, ч. 2, Свердловск, 1991, с. 40.

77 Л. Н. Т о л с т о й, Краткое изложение Евангелия. — “Евангелие Толстого”, М., 1992, с. 12.

78 В. С. С о л о в ь е в, Идея сверхчеловека. — В. С. С о л о в ь е в, Сочинения в 2-х томах, т. 2, М., 1989, с. 611.

79 В. С. С о л о в ь е в, Три разговора. — “Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева”, изд. 2-е, т. 10, СПб., 1914, с. 84.

80 Л. Н. Т о л с т о й, Краткое изложение Евангелия, с. 13

81 Л. Н. Т о л с т о й, Краткое изложение Евангелия, с. 14.

82 Т а м ж е, с. 17.

83 В. С. С о л о в ь е в, Три разговора, с. 197—198.

84 В. С. С о л о в ь е в, Три разговора, с. 161.

85 Н. А. Б е р д я е в, Ветхий и Новый завет в религиозном сознании Л. Толстого. — “Вопросы литературы”, 1991, № 8, с. 139.

86 “Церковные ведомости”, 24 февраля 1901 года, № 8, с. 46.

87 В. Ф. Б у л г а к о в, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, М., 1989, с. 260.

88 “Переписка А. П. Чехова”, в 2-х томах, т. 1, с. 248.

89 Ленин писал: “Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах...” (В. И. Л е н и н, Л. Н. Толстой. — “В. И. Ленин о литературе и искусстве”, М., 1967, с. 221).

90 С. Л. Т о л с т о й, Очерки былого, Тула, 1965, с. 275.

91 С. А. Т о л с т а я, Дневники, в 2-х томах, т. 2, с. 212—213.

92 С. Л. Т о л с т о й, Очерки былого, с. 247.

93 Да и у Высоцкого — “Черт по имени Черток”.

94 С. А. Т о л с т а я, Дневники, в 2-х томах, т. 2, с. 213.

95 В. Ф. Б у л г а к о в, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, с. 293.

96 Л. Н. Т о л с т о й, Христианское учение. — Лев Т о л с т о й, Я верю, М., 1990, с. 53.

97 Впрочем, такую связь последнего жеста Толстого с судьбой России некоторые почувствовали: “...Толстой встал и пошел — тронулся. Как знать, не тронется ли так же и Россия, тоже больная; как бы грохот лавинный чуется нам в движении Толстого...” (Андрей Б е- л ы й, Трагедия творчества. Достоевский и Толстой, с. 392).

98 С. А. Т о л с т а я, Дневники, в 2-х томах, т. 2, с. 427.

99 Ф. С т е п у н, Религиозная трагедия Льва Толстого, с 42.

100 С. А. Т о л с т а я, Дневники, в 2-х томах, т. 2, с. 476.